



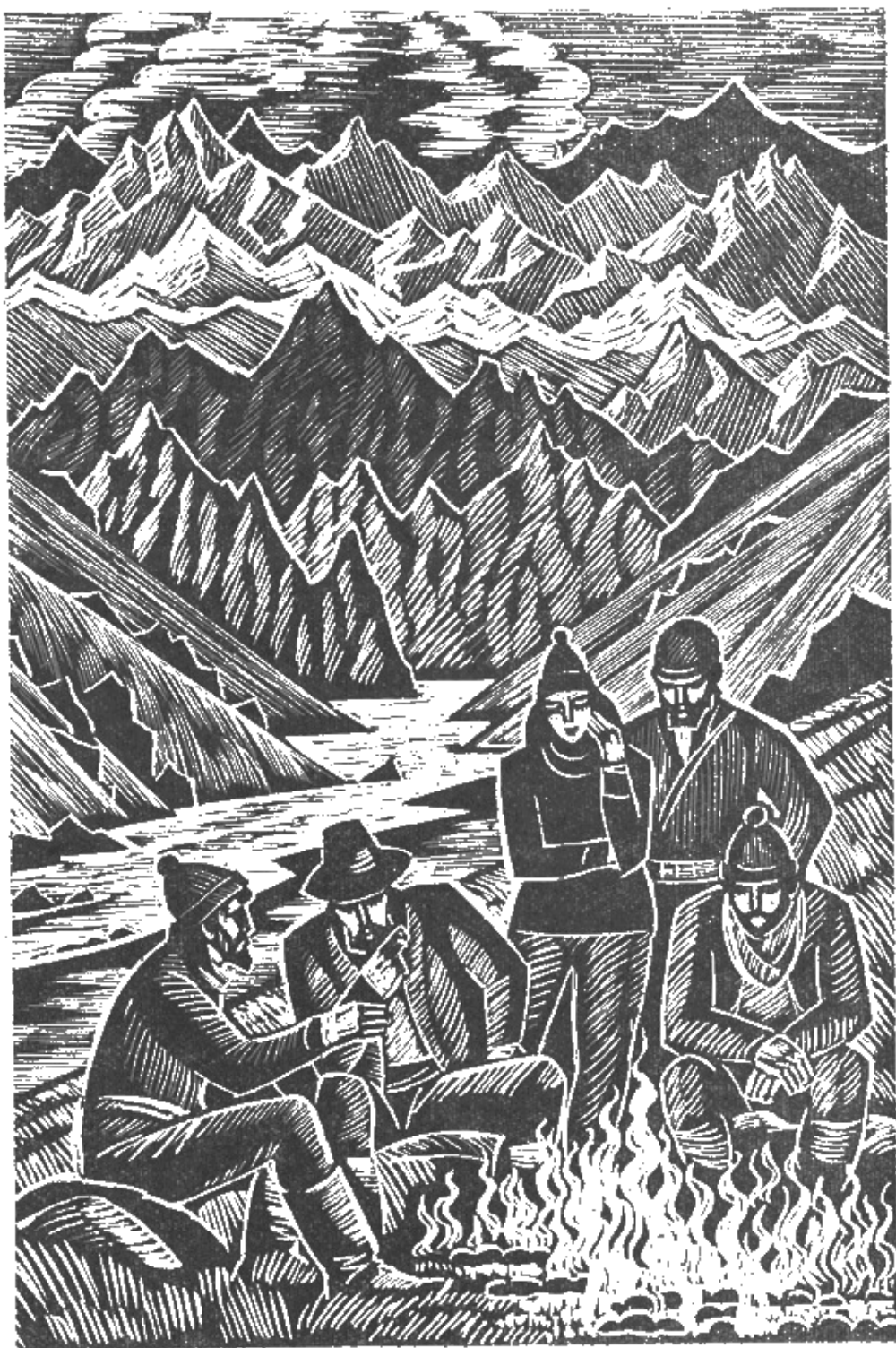
**О.Е. АГАХАНИЯЦ  
НА ПАМИРЕ**

## Annotation

Автор, доктор географических наук, профессор, много лет работавший на Памире, рассказывает о его природе, о своих исследованиях и экспедиционных приключениях, о людях, помогавших ему в работе.

---

- [ПОЛЕВЫЕ ДНЕВНИКИ](#)
- [НАЧАЛО](#)
- [ТРИ ПУТИ](#)
- [ВОКРУГ ПИКА МАЯКОВСКОГО](#)
- [ОПЕРАЦИЯ «ОДУДИ»](#)
- [ЗАПОМНИВШИЙСЯ МАРШРУТ](#)
- [МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ НАДО?](#)
- [ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ...](#)
- [ВЕЧЕРА НА ЛАГЕРЕ](#)
- [МЫ С ПАМИРА](#)
- [ПОСЛЕСЛОВИЕ](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)



ПУТЕШЕСТВИЯ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ПОИСК

**О. Е. АГАХАНИЯЦ**

**НА ПАМИРЕ**

**ЗАПИСКИ ГЕОБОТАНИКА**

Издательство «Мысль»

Москва · 1975

\*

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ  
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Послесловие  
кандидата биологических наук  
В. Н. ПАВЛОВА

Художник В. И. СУРИКОВ

*Цветные и черно-белые фотографии  
в этой книге выполнены автором*

© Издательство «Мысль». 1975

# ПОЛЕВЫЕ ДНЕВНИКИ (вместо предисловия)



Полевых дневников у меня множество. В разноцветных переплетах карманного формата записные книжки. Ими забит один из ящичков письменного стола. В них записано, зарисовано, сведено в схемы и графики все то, чем я занимался в горах Средней Азии. Первая книжка дневника датируется 1949 годом, последняя — минувшим летом. Четверть века. Целая жизнь...

Полевые дневники — не беллетристика. Их не читают. Из них время от времени извлекают научный материал. То потребуются описание какого-нибудь растительного сообщества, то понадобится уточнить абсолютную высоту конкретного растительного рубежа. Или дату. Или еще что-нибудь. Вид у дневников довольно потрепанный. Мало того что их месяцами терли в кармане или полевой сумке — их и после этого перелистывали сотни раз в поисках необходимой информации. Иногда, перебирая дневники, обнаруживаешь закладку из клочка бумаги. Значит, что-то мне нужно было на этой именно странице. Что? Сейчас это уже неважно: нужные сведения давно нашли свое место в статье или книге, написанных для специалистов.

Я геоботаник. Изучаю растительный покров гор Средней Азии. Составляю карты растительности. Внимательно приглядываюсь к растениям. Интересуюсь: как они сосуществуют друг с другом и как себя чувствуют в горной среде? На каких высотах, склонах и грунтах поселяются? И почему именно на них? Любопытствую насчет того, что росло в этих горах сотни тысяч и миллионы, а что — двадцать тысяч лет тому назад. Стараюсь заглянуть вперед: что будет здесь расти тысячу, пять тысяч лет спустя? И так далее. Все это любопытство удовлетворяется на вполне законном основании. Потому что растения и растительность — это тоже производительная сила, тоже ресурсы — пищевые, кормовые, лекарственные, промышленные... Всестороннее изучение этих вот живых ресурсов и составляет содержание моей работы, а соответственно — и содержание полевых дневников. Правда, помимо дневников имеется и масса других материалов. Это гербарий, коллекция засушенных растений. Это подробные карты растительного покрова. Это тысячи специальных бланков, набитых всевозможными сведениями.

Обо всей этой работе я написал в книжке «За растениями по горам Средней Азии» («Мысль», М., 1972). Когда книжка вышла в свет, я убедился, что в ней не хватает очень многого. Для специалистов я не сообщил в той книжке ничего нового, а неспециалисты хотели знать не только о растениях, но и о том, что я видел своими глазами, о людях, живущих и работающих в горах. А о них-то я как раз написал мало.

И тогда я впервые поступил с полевыми дневниками непрофессионально. Я стал читать их с начала до конца. Это было захватывающее чтение! Помимо научной дневники содержали множество всякой прочей информации. Я заметил, что поначалу, в первые годы работы в Средней Азии, «ненаучная» часть в дневниках была обширнее. Я записывал чуть ли не все, что видел и чему удивлялся. Позднее описания впечатлений и событий становились все короче, а в последние годы они свелись к хроникальным записям в одной фразе: «прибыл тогда-то», «выехал туда-то», «встретил того-то». А рядом геоботанические описания, зарисовки профилей, номера катушек отснятой пленки... Наверное, я все меньше удивлялся. События экспедиционной жизни с годами становились обыденными.

И тут произошло нечто странное: краткие хроникальные записи рядом с геоботаническим материалом ожили. Пробегая глазами

описание растительности, я прекрасно, в красках и образах, представлял себе всю обстановку того дня и часа. Казалось, я даже чувствую запах полыни, хотя это уж было продуктом воображения. За растительностью в памяти оживали люди, походы, неудачи и успехи. Иногда события приобретали драматический характер, иногда — юмористический. И за всем этим вставала страна Памир. Он милее всего моему сердцу: сухой, каменистый, пестрый, громоздкий и какой то незавершенный, вроде гигантской заготовки, которую природа обтачивает в эмпирических поисках совершенства. Памир так динамичен, что четвертое измерение его природы — время — становится почти осязаемым...

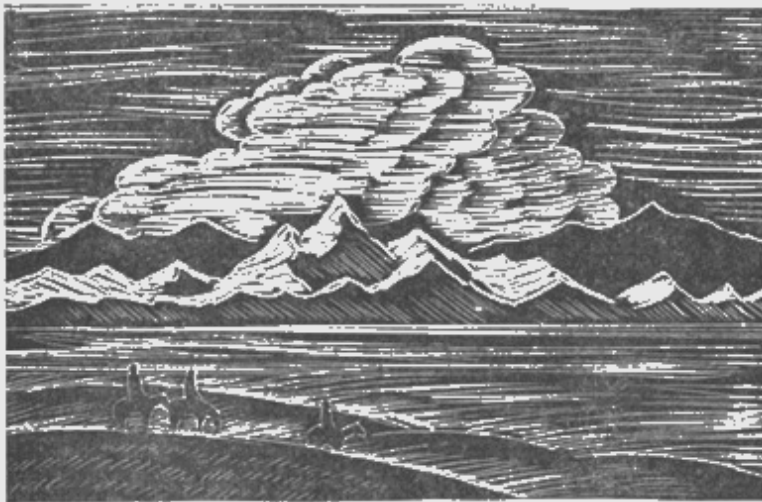
А потом я однажды почувствовал запах полыни, исходивший от сложенного в углу кабинета гербария. Повеяло пряным ветром Азии. И я захотел поделиться с читателем хоть частью того, что содержалось в моих полевых дневниках.

Эта книга совсем не продолжение той. Она о том же самом: о горах, растениях, природе, поисках. Но она и совсем о другом — о том, чего не было в той книге. Совсем другая книга.

Поскольку Памир в своем многообразии необъятен, а об интересных людях и событиях в полевых дневниках написано очень много, я решил выбрать из них всего несколько фрагментов, хотя и не укладывающихся в общий сюжет, но охватывающих самое характерное. Удачно ли я эти фрагменты отобрал — не знаю. Но мне очень хочется, чтобы, отложив прочитанную книгу, читатель представил себе Памир в образах. Тогда я сочту, что написал все это не зря.



# НАЧАЛО



Аспирант — это человек, который должен быть готовым к любым неприятностям. Я был тогда аспирантом, но не знал этой простой истины. Позже я убедился в том, что к неприятностям надо быть готовым на любом уровне научной карьеры, но тогда неприятность застала меня врасплох. Откликаясь на одну из кампаний, кафедра заменила мне тему. Мой небольшой, состоявший из двух сезонов опыт работы в Арктике, которой я решил посвятить свои силы, не был принят во внимание. Мне предложили включиться в академическую экспедицию, направлявшуюся в Заволжье.

Говорят, что судьба играет человеком. Если это так, то на этот раз судьба сыграла со мной, как нужно: академическая экспедиция по каким-то финансовым соображениям весной с выездом задержалась. Летом ехать в выгоревшие степи не имело смысла — экспедицию отложили до осени, а осенью не мог ехать я. Как аспирант, я мог тратить средства на полевые исследования почему-то только в летние месяцы. Зажатый жерновами финансовых инструкций, я оказался у разбитого корыта: в Арктическом институте на мое место уже кого-то взяли, и этот счастливчик был уже на Таймыре, Заволжье отпадало... Чуть теплый ленинградский май подошел к концу, а я околачивался в



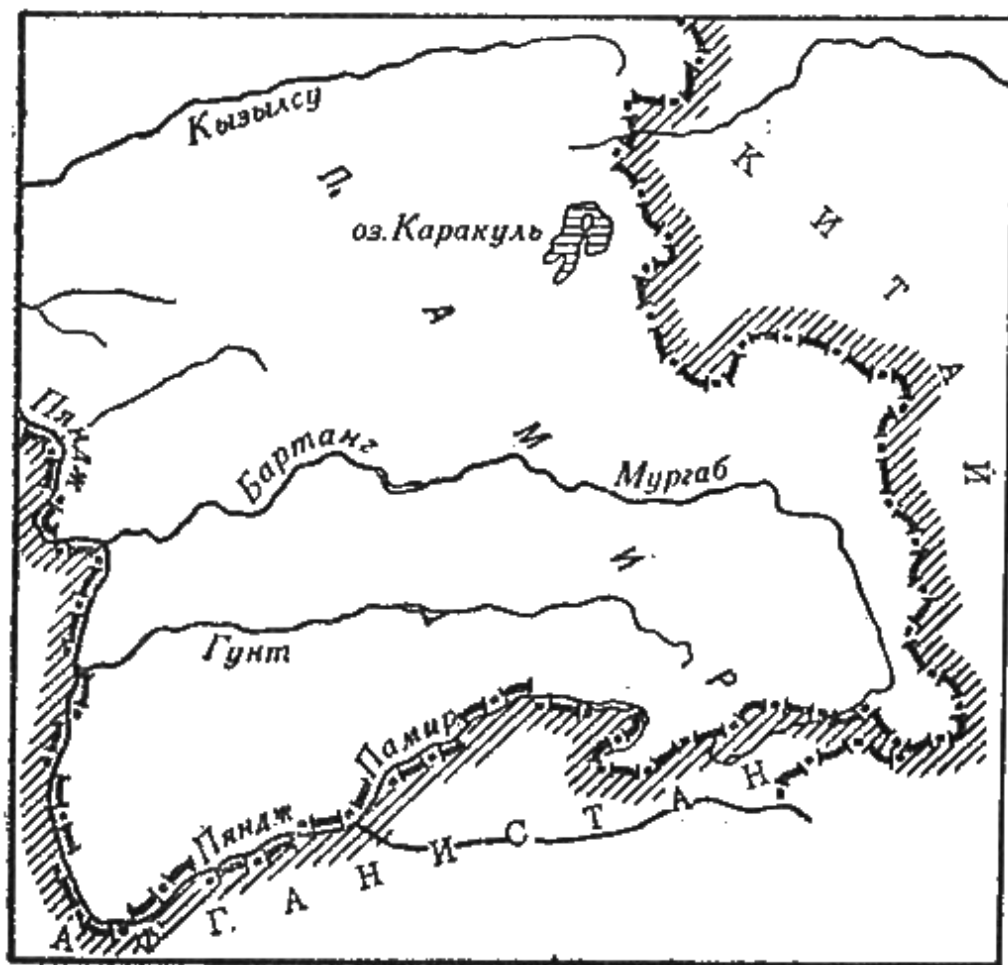
Ботаническом институте в надежде примкнуть хоть к какой-нибудь экспедиции.

Судьба явилась в образе молодого профессора, читавшего когда-то нам курс ботанической географии. Полюбопытствовав насчет причины бездельного моего пребывания в вестибюле института, он узнал от меня всю горькую правду, подумал с минуту и спросил: «В Таджикистан хотите?» Я сказал, что хочу, поскольку завтра уже июнь, сезон начался и что-то надо делать. Предложи он мне Колыму или Карпаты, я бы тоже согласился. Через полчаса я уже стоял перед человеком, который возглавлял тогда одно ботаническое учреждение в Таджикистане. Он задал мне несколько вопросов и остался, видимо, доволен, так как написал три телеграммы в Таджикистан и велел мне их отправить. Через два дня пришел ответ. Меня назначили начальником геоботанического отряда паст — бищной экспедиции в Таджикистане. Я охнул: какой же я начальник? Пожилой ботаник из Таджикистана, находившийся в Ленинграде в командировке, пояснил мне, что это немыслимое возвышение связано с нехваткой кадров, похлопал меня по плечу и посоветовал дерзать. Выхода не было. Тем более что в телеграмме содержался приказ выезжать немедленно.

Это сейчас, с авиацией, легко «немедленно», а тогда поезд громыхал на рельсовых стыках семь суток. Мимо проплывали леса, луга, пашни, русские избы. Потом лесов не стало, за вагонным окном поплыли распаханые степи. Потом не стало и степей: на равнинах Казахстана виднелись только кустики полыней и соля нок. Стало жарко и пыльно. Запах полыни врывался в открытое окно вагона и вызывал смутную тревогу своей необычностью. Двускатные крыши сменились глинобитными кибитками с плоскими крышами. Между кибитками бродили ослы и верблюды. Потом было синее Аральское море, шумный Ташкент, зеленый Каган. На горизонте появились горы. Теплой душной ночью поезд прибыл на конечную станцию.

Столица Таджикистана встретила меня деловито. Поздравив с приездом, начальник треста тут же подписал приказ о моем зачислении. Вечером, даже не проверив паспорта, мне вручили крупную сумму казенных денег, карабин, карты и кое-какое снаряжение, познакомили с моими «подчиненными» и шофером. Через день он уже крутил баранку на горных дорогах, а мы тряслись в кузове, глотали пыль и глазели на обступавшие нас горы. О том, как я

буду объяснять все эти события на кафедре, думать не хотелось. А еще через день я вывел людей в первый маршрут, не успев даже удивиться, что Средняя Азия появилась в моих планах всего лишь две недели назад. И уж конечно, я не знал в тот день, что еще долгих двадцать с лишним лет буду ходить маршрутами по среднеазиатским горам и что запах полыни будет для меня самым желанным из всех ароматов планеты...



В первый сезон отряд стал работать в Центральном Таджикистане. Сильное землетрясение изменило планы, и отряд перебросили в Дарваз. После трехсот видов высших растений, которыми я оперировал на Таймыре, здесь я совершенно утонул во флористическом обилии. Со всех сторон на меня глядели многие сотни совершенно незнакомых видов растений. Перед отъездом в горы я успел вычитать, что в Таджикистане проживает около пяти тысяч видов высших растений. В

том районе, где я начал работу, их насчитывалось более двух тысяч. Мои спутники растений тоже не знали. Встретив какой-нибудь банальный подорожник или пастушью сумку, умилялись, как будто встретили знакомого в большом чужом городе. Смешно сказать, но тогда я делал описания растительных сообществ, проставляя вместо названий растений номера листов гербария: не знал названий. Отказываться от работы было поздно. Учиться приходилось на ходу. Осенью я выговорил в Министерстве сельского хозяйства право представить отчет к весне. Зимой, не разгибая спины, сидел в гербарии Ботанического института в Ленинграде и разбирался в коллекциях отряда. Ночами снились распаренные цветки в поле бинокюляра. Потом сверстал кое-как отчет, отправил его в Таджикистан и с дрожью сердца стал ждать разгромной оценки. Ответ пришел благополучный: отчет приняли, велели только уточнить кое-что. Предложили снова приехать. На этот раз мне давали расширенный отряд, в который входили и почвоведы. Выезжая в апреле, я уже знал о горах и растениях куда больше. Кое-что значила прочитанная литература. И опыт прошлого сезона тоже.

Я знал уже, что высотные пояса, по которым размещается растительность в горах, в Средней Азии очень плавно, постепенно переходят друг в друга. Границы между поясами мозаичны: сообщества соседних поясов глубоко проникают на «чужую» территорию. Сухость и континентальность климата как бы сглаживают обстановку, и резкость поясных рубежей исчезает. Не то что в Западном Закавказье или в Карпатах: там границы между поясами резкие. Знал я также, что поскольку склоны гор не похожи на скаты крыши, поскольку они извилисты, то внутри каждого высотного пояса при каждом повороте склона меняется экспозиция, а значит, и растительность тоже. Выходит, что она меняется и снизу вверх, и вдоль склонов. Получается мозаичность, пестрота, положить которую на карту очень трудно. Важно было увидеть в этой мозаике закономерности и именно их отразить на карте. Дело нелегкое, но уже более или менее знакомое. Знал я и о том, что вся поясность в горах Средней Азии континентальная: леса начинаются не от подножий гор, а выше, повисая где-то в средней части склонов, там, где влажнее всего. И леса эти — не совсем леса: кустарников там больше, чем деревьев, а деревья, если они есть, не образуют сплошного полога,

растут друг от друга на значительном расстоянии. Из-за сухости деревья направляют корневые системы не вглубь, а в стороны. Так лучше улавливаются осадки. Получается лес, сомкнутый под землей и разреженный на поверхности. Это уже не лес, а редколесья. Можжевеловые, фисташковые, ореховые, кленовые...

Но самое главное из того, что я узнал за зиму, заключалось в содержании самой растительности. До поездки в Среднюю Азию я знал леса, луга, болота и тундры. Видел их. С этим запасом представлений и начал работу, пытаясь каждый раз находить аналоги тому, что знал. И чем больше работал, тем меньше этих аналогов находил. Мало того что леса здесь не были похожи на те, что я знал раньше, что луга складывались из неизвестных мне растений, а болотца встречались лишь в крошечных западинках с родниковым увлажнением. Мне встречались такие растительные сообщества, которых я никогда не видел и не знал, как их назвать. Травостой, названный луговым, оказывался через два месяца выгоревшим и засохшим. Значит, не луг это. Что же? Заросли гигантских зонтичных, скрывавших нас на склонах с головой, к осени желтели, и на месте пышных травостоев торчали лишь сухие дудки. Что это за тип растительности? На луга совсем не похоже. А на каменистом склоне встречались заросли полушаровидных подушек, растопыривших иглы во все стороны. Это уж и вовсе ни на что не похоже. Лес был так разрежен, что не мог затенить травостой. В болоте не только завязнуть — ноги замочить не всегда можно было. Когда появлялись ковыли, следовало полагать, что это степь. Это вытекало из вузовских курсов. Но тут же, подавляя злаки, в изобилии росли колючие травы. Рядом росли травы не колючие, а вонючие — с резким эфирным запахом, преимущественно губоцветные. Среди них степные злаки и вовсе чувствовали себя подавленно. Куда прикажете отнести все это? И не луга, и не степи вроде. А кустарниковые заросли? Это же не лес, где должны господствовать деревья. Что же это за тип растительности?

Направляясь в горы Средней Азии во второй раз, я уже знал, что самый ложный путь ботанического познания в Средней Азии — это поиски аналогов типам растительности средних и высоких широт. Таких аналогов там чаще всего попросту нет. Растительность в среднеазиатских горах оригинальная, и если на что и похожая, то только на растительность, расположенную к западу или к востоку, но

не к северу. Этих средиземноморских, центральноазиатских, иранских, туранских и прочих типов растительности там было намного больше, чем мы привыкли встречать на севере. Вместо трех-четырех типов растительности, которые я знал раньше, в Таджикистане было более десятка: степи, нагорные ксерофиты, эфемеретум, редколесья, тугаи, шибляки, пустыни, томилляры, подушечники, колючетравья, криофитон, да еще луга, травяные болота, леса... Вся эта растительность ложилась на карту, образуя очень пестрый узор. Каждый тип растительности к тому же имел свою историю развития, свой возраст. Мало того что все это размещалось в трехмерном горном пространстве — все это еще изменялось во времени. Голова шла кругом, но было безумно интересно. Загадки растительного мира в горах напоминали кроссворд, но не плоский, а объемный и подвижный и оттого особенно трудный и захватывающий.

Второй сезон прошел куда успешнее. Мы дотянули нашу карту по северному склону Дарвазского хребта до самого ледника Гармо. Здесь никто еще геоботаникой не занимался. Сознание приоритета вдохновляло. Мы пускались в отчаянные авантюры с переправами и переходами. Нас было десятеро. Самый старший из нас был на пять лет старше самого младшего, впервые побрившегося. Наш отчет приняли с высокой оценкой. Из Таджикистана я уезжал тогда, не зная, доведется ли вернуться. Срок аспирантуры подходил к концу, а потом уж мою судьбу определит министерская комиссия... Новых друзей я покидал с грустью.

Но... судьба снова «сыграла» со мной как нужно. Я переселился из Ленинграда в Таджикистан. В 1952 году я впервые увидел Памир и понял, что до сих пор была только прелюдия.

Памир потряс меня. Проезжая по Памирскому тракту, я задыхался и буквально, и в переносном смысле — от высоты и от восторга. К высоте я со временем привык, но душевное потрясение увиденным осталось навсегда. Поражало буквально все: грандиозность горных сооружений, сочетание огромных высот с чудовищной сухостью, пастельные тона пейзажей нагорья, бешеный перепад высот на Западном Памире, сумасшедшие каскады рек, нависшие над пустыней ледники, синее до фиолетовости небо, каменные глыбы осыпей, не похожие ни на что виденные растительные ландшафты, в которых не было места лесам и лугам на склонах гор... От всего этого внутри что-

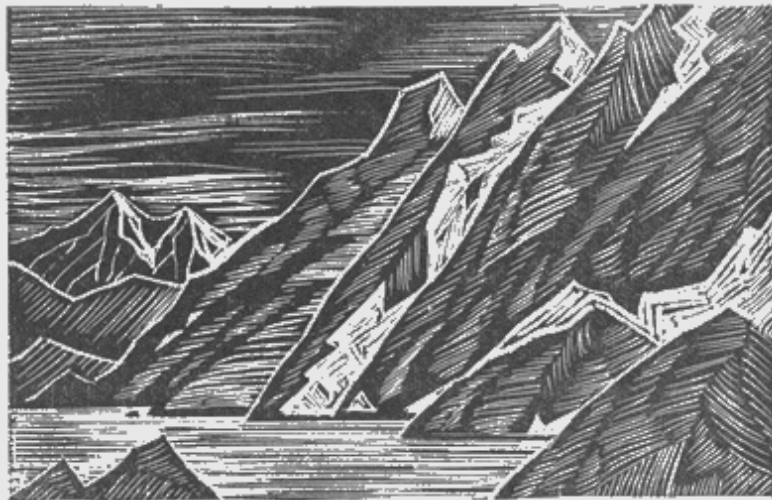
то обрывалось и пело. На память приходили картины Рериха, стихи таджикского поэта и зоолога Гуссаковского, образы Федченко, Северцова, Свена Гедипа, Корженевского... Потом память забивало чем-то новым, вынырнувшим из-за поворота дороги.

Некоторое время спустя я перебрался в Хорог. Стал работать старшим научным сотрудником Памирского ботанического сада. Это и было настоящее начало. Не очень, правда, типичное. Но так было.

Прошел год, второй, пятнадцатый... Многое стало привычным: выезжать на Памир по весне, спать там, где застанет ночь, есть что придется, возвращаться домой поздней осенью, с первым снегом. Меня спрашивали, долго ли еще я намерен бродить. Отвечал по-разному, чаще не всерьез. Сам же задумывался: а и правда, долго ли? Кажется, не было уже на Памире мест, где бы я не побывал. К осени чертовски надоедали сухомятка, спальный мешок и штормовка. Хотелось домой, в ванну, к обильному столу, к библиотеке. Уже закончены некоторые обобщения, написаны книги. Уже затрудняли сложные маршруты, которые какие-нибудь десять лет тому назад я проходил запросто. Уже многое примелькалось, и я почти перестал фотографировать: казалось, сфотографировано все. Может быть, и правда пора кончать? Но через минуту эта дикая мысль отбрасывалась. Становилось ясно, что логического конца моей работе нет. К концу каждой экспедиции вопросов, требующих решения, возникало все больше. И каждый новый сезон, каждый новый маршрут воспринимались как начало...



# ТРИ ПУТИ К САРЕЗСКОМУ ОЗЕРУ



## *ПУТЬ ПЕРВЫЙ*

Парадом командовал Гурский. Ему принадлежала идея. К тому же он был нашим директором, да еще и профессором. Техническое оснащение экспедиции было возложено на Запрягаева. У него был к этому талант. На мою долю оставалась работа «на подхвате», так как у меня не было ни идей, ни технической одаренности. Такое распределение обязанностей было справедливым и по соображениям стажа: Анатолий Валерьянович Гурский к тому времени разменивал свой пятнадцатый памирский год, Михаил Леонидович Запрягаев — четвертый, а я — только первый, если не считать кратковременной поездки сюда за два года до описываемых событий. А события в этот момент разворачивались жаркие. На Памирской биологической станции обсуждалась идея Гурского. Поскольку биостанция Гурскому не подчинялась по служебной субординации, обсуждение носило совершенно свободный характер. Кирилл Владимирович Станюкович

— директор биостанции и тоже профессор — назвал всю идею авантюрой. Гурский же доказывал реальность идеи и перечислял все ее достоинства. Идея зародилась на Западном Памире и теперь вместе с сотрудниками Памирского ботанического сада была импортирована Гурским сюда, на Памирское нагорье. Оба директора спорили в любую свободную от работы минуту. Сотрудники поддерживали своих директоров. На стороне биостанции было большинство, опиравшееся на двадцатилетний памирский опыт Станюковича, на нашей стороне был Гурский, переспорить которого все равно было невозможно. Полемика закончилась неожиданно:

— Кирилл Владимирович, вы дадите нам мешковину или нет? — спросил Гурский.

Станюкович молча посмотрел на него, ушел на склад, вернулся с рулоном мешковины и буркнул с высоты громоздкой своей фигуры:

— Берите. Это лучше, чем потом тратиться на три венка к похоронам.

Капитулировал Кирилл Владимирович, надо признать, с обычным для него юмором, хотя и мрачноватым на сей раз. Впрочем, капитуляцией это, пожалуй, не назовешь: каждый все равно остался при своем мнении. Но отныне план больше не обсуждался, и вчерашние оппоненты помогали нам снарядиться, чем могли. Запрягаев, получив мешковину, оклеил ею дно фанерной плоскодонки, просмолил ее несколько раз, и на этом сборы закончились.

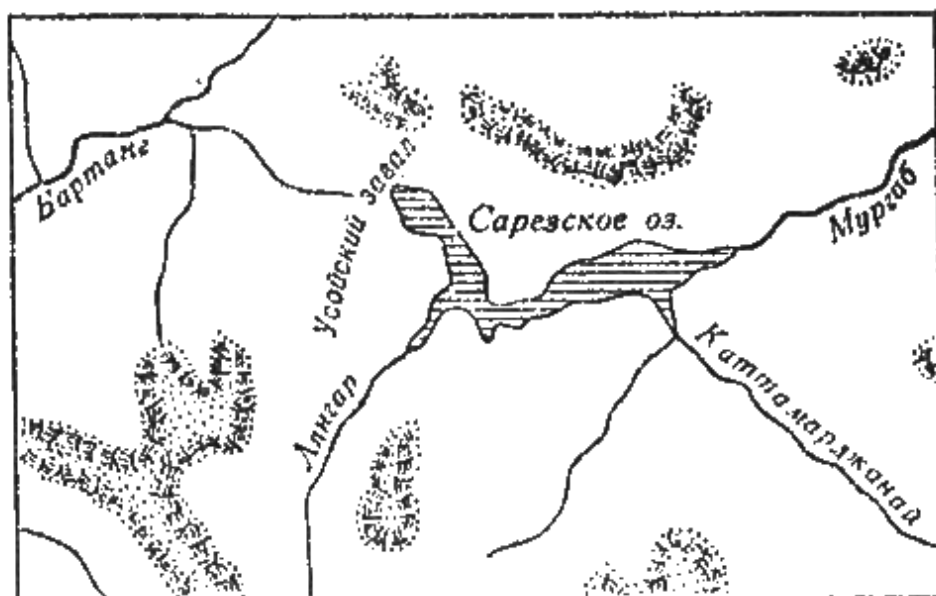
Так мы впервые собирались в путь к Сарезскому озеру. А плоскодонка нужна была для того, чтобы реализовать идею Гурского о сплаве на Сарез по реке Мургабу. Именно этот способ достижения цели и вызвал споры. Сказать, что сплав по бурным рекам не является традиционным способом передвижения на Памире, — значит впасть в явное преувеличение: сплав там вообще не применялся тогда еще ни одной экспедицией.

Вечером был прощальный ужин. Под общий хохот Гурскому присвоили шуточное звание адмирала Сарезского озера. Даже эполеты из фольги на него нацепили. Потом все разошлись спать.

Я уснул не сразу. Тараща глаза в темноту комнаты и слушая дружный храп моих товарищей, я перебирал в памяти все, что знал об удивительном озере, к которому предстояло плыть.



1911 год. В ночь на 7 февраля огромный участок склона Музкольского хребта обрушился и завалил мирно спавший кишлак Усой. Все жители (считают, что их было около двухсот) погибли, не успев, видимо, даже сообразить, что произошло. Говорят, в живых остался только один житель Усоя, который гостил в ту ночь в другом кишлаке. Отчего произошла эта катастрофа, остается неясным: то ли землетрясение вызвало обвал, то ли обвал огромных масс породы вызвал денудационное землетрясение, толчки которого ощутили в ту ночь в пяти тысячах километров от Усоя, в Пулкове. Может быть, вскорости и забылся бы этот случай: мало ли местных, жителей гибло тогда на Памире от разных причин. Но кишлаку Усой суждено было войти в географическую литературу, даже в энциклопедии и учебники. Завал, который с тех пор называют Усойским, перегородил реку Мургаб огромной плотиной, выше которой уровень воды стал быстро подниматься. Через год после катастрофы вода затопила кишлак Сарез, жители которого переселились в другие места. Выше завала образовалось озеро, которое стали называть Сарезским. Длина его сейчас достигла 61 километра, а глубина возле завала — более полукилометра. Поскольку скопившаяся в озере вода вскоре стала фильтроваться через завал, рост озера прекратился. Вытекавшая из-под завала вода возобновила нижнее течение Мургаба, который после впадения в него реки Кудары называется уже Бартангом.



Как-то, рассматривая топографическую карту 1904 года, я увидел на ней не существующие сейчас кишлаки Усой и Сарез. Абсолютные высоты на карте были отмечены в футах. Я пересчитал их на метры, сравнил с современными картами, и получилось, что сейчас кишлак Сарез находится под двухсотметровой толщей воды. Мне даже снился этот подводный кишлак. Однажды мне довелось побывать в поселке, жители которого оказались переселенцами (или потомками переселенцев) из кишлака Сарез. Там я услышал легенду, согласно которой обитатели Сареза зажили так богато, что перестали уважать ближних, угнетали братьев, вот аллах и покарал их. Почти библейский сюжет...

Вот такими трагическими событиями сопровождалось образование озера. Когда о нем пишут, всегда оперируют астрономическими цифрами: столько-то кубометров породы свалилось в Мургаб, столько-то кубических километров воды скопилось над завалом... Эта вода вызывала беспокойство. Мургаб ежегодно приносил ее кубическими километрами, а прочность завала была неизвестна. А ну как вода озера прорвет завал! Страшно подумать! Все эти кубические километры сметут тогда все поселения ниже завала. И не только по Бартангу, но и по Пянджу. К озеру посылались экспедиции, о судьбе завала спорили ученые, разделившиеся, как положено, на оптимистов и пессимистов, на озере поставили гидрометеостанцию.

Добираться до озера трудно: тропы по Мургабу затоплены озером, по Бартангу путь идет по опасным навесным тропам — оврингам, а с юга тропа хотя и безопасна, но идет она через высокий перевал, и дорога выматывает путника. Собственно, по южной-то тропе летом и поддерживалась связь с метеостанцией. В общем, из-за своей труднодоступности окрестности озера были изучены слабо, в том числе и ботаниками. У нас этот район вызывал несколько разный интерес: Запрягаев собирался отыскать в этом изолированном месте редкие растения для пересадки их в ботанический сад; Турского, кроме того, интересовали пойменные леса по нижнему Мургабу, а мне просто-таки необходимо было взглянуть на растительность, которую вот уже около полувека не топтал и не травил скот, поскольку все скотопробные пути были затоплены озером. На планете осталось так мало нетронутых мест, а возле озера — естественный заповедник.

По южному пути Гурский ходил когда-то на Сарез (именно так сокращенно принято называть озеро). Для него южный маршрут был уже слишком банальным. Вот он и придумал этот сплав по Мургабу. Идея была здоровой: пока река течет по плоскому нагорью Восточного Памира, течение не должно быть бурным, а когда начнется уклон русла в сторону глубоких ущелий Западного Памира, течение должно замедлиться благодаря подпору вод Сареза: как-никак, а точка, к которой стремилась вода Мургаба, начиная с 1911 года стала выше на полкилометра. Если иметь хорошие «плавсредства» и надежный экипаж, то Мургаб сам донесет путешественников до озера со всем снаряжением. Плавсредством стала фанерная плоскодонка, а экипажем — мы с Гурским и Запрягаевым.

Михаил Леонидович Запрягаев — научный сотрудник Памирского ботанического сада, лесовод по специальности, бывалый и умелый во всех отношениях человек. Я не знаю, кто лучше него мог собрать гербарий, разыскать редкое растение, связать оборвавшийся трос, выкопать и довести до места живое растение, упаковать любой груз так, что приятно посмотреть. Что касается меня, геоботаника, то я был научным сотрудником того же сада, моложе всех в нашем «экипаже». Наш директор — человек совершенно исключительный. Крупный ученый-лесовод, Гурский поражал умением делать своими руками все то, чего требовал от подчиненных. Многочисленные таланты, чудовищная эрудиция, неутомимость, личная храбрость и некоторая доля артистизма сливались в очень сложный образ блестящего, но не всегда легкого в общении человека.

...За первый день сплава (это было 14 августа 1954 года) мы проплыли километров тридцать. По нагорью Мургаб протекал неторопливо. Местами его русло петляло. Если бы не горы вокруг, можно было бы подумать, что мы плывем не через горную страну, а через равнину. Но заблуждения на этот счет исключались: гигантские осыпи сползали со склонов к реке, а гребни гор сужали обзор. Если не считать нескольких участков с более быстрым течением, сплав протекал спокойно, даже с некоторыми удобствами. Плавно проплывавшие мимо нас берега располагали к неторопливым размышлениям. Гурский думал вслух, мы с Михаилом молчали: не хотели перебивать эти феерические монологи, слушать которые можно было без конца, так они были интересны.

Временами мы причаливали к берегу, собирали коллекции, делали описания, фотографировали. Доплыли до лагеря геологов, попили у них чайку, поспрашивали о состоянии русла реки внизу, но геологи дать сплавную характеристику Мургабу затруднились. Поплыли дальше. Довольные итогом первого дня, крепко уснули под захватывающий рассказ Гурского о творчестве Ивана Бунина.

...За второй день мы проплыли уже около ста километров. Вокруг ни души. Даже тропы не видно было. Плыли уже без комфорта. Река неслась все быстрее. Берега проносились мимо, почти не задерживая нашего внимания, которое полностью было сосредоточено на русле. Перед бурными перекатами мы приставали к берегу, выбирали путь, по которому должна была проскочить лодка, а потом очертя голову направляли ее в кипящую воду. Временами лодка чиркала дном об камни, но заваренная в смолу мешковина, которой Михаил оклеил дно нашей посуды, предотвращала проломы. Иногда мы выпрыгивали в воду и торопливо сталкивали лодку с мели, чтобы стремительная вода не успела перехлестнуть через борта. Охрана труда гарантировалась тремя автомобильными баллонами, игравшими роль спасательных кругов.

Сплав становился все быстрее. Широкая в начале путешествия долина Мургаба становилась все глубже и уже. Падение русла возрастало. Еще с утра мы проплыли мимо первых прирусловых лесов из ивы. Нагорье безлесно, и появление лесов знаменовало переход к Западному Памиру. Когда мы причаливали к берегу для работы, то все больше убеждались в том, что район необитаем. Лес умирал естественной смертью. Засохшие ивы и тополя лежали тут же. Ни одного следа топора. И это среди пустынных склонов, на которых топлива не сыщешь. Такое было возможно только в необитаемых местах.

Поражали кусты терескена. Стравленные на нагорье скотом, ощищенные холодными ветрами, высотой не более тридцати сантиметров, здесь кусты были в рост человека. Появились первые кустики смородины. Дыхание теплого запада становилось все ощутимее, а сплав — все быстрее и опаснее. Там, где русло расширилось, течение становилось спокойнее, и Гурский каждый раз говорил, что это уже подпор вод Сарезского озера и что теперь течение убыстряться не будет. Но за очередным поворотом Мургаб снова ревел

между камнями, и мы с Михаилом тактично воздержались от критики прогнозов Анатолия Валерьяновича, тем более что для критики времени уже не оставалось: только успевай поворачиваться.

Сплав закончился к вечеру второго дня. Правда, мы этого еще не знали и, когда впереди послышался особенно устойчивый рев воды, решили было, что это очередной порожистый перекат, каких уже немало осталось позади. Но потом Гурский вдруг забеспокоился и велел пристать к берегу. И вовремя! Впереди Мургаб входил в узкую теснину, зажатую между скальной стеной и отвесно размытым каменистым склоном. Над тесниной временами появлялась радуга, не сулившая сплаву добрых перспектив. Пешая разведка показала, что перед нами каскад. Спущенный на воду баллон мгновенно исчез в белой пене. Проходить каскад на лодке нечего было и думать: склонности к самоубийству ни у кого из нас не обнаруживалось.

На этот раз перед сном о Бунине не вспоминали, разговоры велись вокруг проектов преодоления каскада. Предлагались и отвергались предложения одно смелее другого. Наконец уснули, мудро решив: утро покажет, что к чему.

Но ничего вдохновляющего утро не принесло. Со скалы, на которую я взобрался, было видно за каскадом устье Западного Пшарта. От него до Сареза рукой подать. Были хорошо видны плоские, покрытые ивняками террасы урочища Чат-Токой. Но... до него было два километра каскада. Лодку перенести через скалу тоже нельзя: она намокла, отяжелела, и мы втроем еле вытащили ее на берег. Пройти пешком вдоль русла левым берегом тоже было невозможно: сверху время от времени с гудением падали камни. Справа была отвесная скала. Перевалить ее можно, но что нам было делать дальше без лодки? Пешком крутые берега Сарезского озера не пройдешь.

Подвели итоги. Выходило, что Кирилл Владимирович как в воду глядел: операция провалилась. Надо было возвращаться. Но как? Троп нет. Если идти пешком, не все прибрежные скалы можно обойти, и тогда надо переправляться на другой берег. Для этого нужна лодка. А лодка против течения сама не пойдет, ее надо тащить бечевой. Тащить могли только двое. Третий должен был оставаться в лодке и отталкивать ее шестом от берега. Попробовали. Получается. На том и порешили. Я написал записку, в которой изложил суть дела в юмористических тонах, сунул листок в бутылку и подвесил ее к

одинокую стоявшую иву. Потом мы двинулись, как бурлаки, против течения. Бечеву тянули мы с Турским, в лодке оставили Запрягаева, у которого от холода и сырости открылась фронтальная рана. Превозмогая боль, он исправно отталкивал лодку от берега.

Не хочется вспоминать подробности возвращения. Закон сохранения энергии действовал неумолимо. Вниз мы плыли по течению два дня, вверх тащили лодку мускульной силой почти неделю, да и то не весь путь, а лишь до первой тропы. Идти приходилось по колено, а то и по пояс в холодной воде. От холода и воды кожа на ногах и руках лопалась, струпья кровоточили. Ноги были обмотаны тряпьем, так как обувь, которая в воде вмиг бы раскисла, берегли для сухопутной части путешествия: нам только и не хватало появления на людях босиком. Решили, что, как только дойдем до надежно!! тропы, пойдем пешком, унесем с собой все, что сумеем, а лодку бросим. Тропа появилась к концу недели...

На биостанцию заезжать не стали: очень уж «нетоварный» был у нас вид. Адмиральские эполеты и торжественные проводы вспоминать не хотелось. Оставили на мургабской почте открытку для Станюковича и уехали попутной машиной в Хорог «зализывать раны». Открытку, как потом выяснилось, Кириллу Владимировичу вручили только через две недели, и товарищи беспокоились о нас. Они запрашивали метеостанцию на Сарезе, спрашивали геологов, которых мы на обратном пути не застали на прежнем месте, даже пытались создать поисковую группу, но догадались наконец запросить Хорог...

## ***ПУТЬ ВТОРОЙ***

Парадом командовал я. В моем распоряжении было двое рабочих, а они командовали и конем и мулом. Это уже была система субординации. Мы шли вверх по Бартангу к Сарезскому озеру. В сезоне 1955 года это был уже второй заход на Бартанг. Первый совпал с половодьем и кончился неудачно: завьюченный мул ступил мимо края затопленной тропы и со всем грузом сорвался в бурную реку. Мула мы вытащили, груз тоже, но он был безнадежно испорчен, и мы вернулись, так как продолжать путь без продовольствия и снаряжения

было бессмысленно. Теперь, к осени, Бартанг поутих, и мы рассчитывали добраться до Сареза, сделав по пути кое-какую работу. В прошлом году не удалось добраться до озера с востока, сплавом сверху, и мы решили дойти до него с запада караваном снизу, по долине Бартанга.

Долина — это громко сказано. Здесь не было и намека на широкое русское долинное раздолье. Бартанг течет в узком ущелье, почти в каньоне. Течет бурно, несет миллионы тонн песка, ила, всевозможных взвесей. Горы вокруг медленно, сантиметра на три в год, поднимаются, а Бартанг тоже медленно, но неуклонно врезался в свое ложе, пропиливая борта ущелья, как ленточной пилой. Процесс этот, с остановками правда, длится вот уже добрый миллион лет, и глубина ущелья местами достигает полутора километров. Над ущельем горы становятся положе, а потом снова круто вздымаются острыми гребнями. Со дна ущелья их не видно, только кусочек синего неба очерчивается рваными краями скал. Солнце освещает дно ущелья всего лишь несколько часов в сутки, а потом снова ложатся глубокие тени. По склонам ползут вниз каменистые осыпи. Вода подмывает их, каменные глыбы и щебень сползают в реку, а на их место наползают все новые тонны камней.

По осыпям проложены временные тропы. Временные потому, что стоит пройти по ним, как они тут же оползают, и следующему путнику надо протаптывать новую тропу, выше первой. На особо подвижных сланцевых осыпях шагать надо быстро, чтобы не успеть сползти в реку. А как тут быстро пойдешь, если в поводу идет завьюченный конь?!

Но тропы на осыпях — это еще цветочки. Ягодки же — это овринги, навесные тропы. Там, где река отшлифовала отвесную стенку какой-нибудь скалы, обойти которую сверху невозможно, строят овринг. В расщелины скалы забивают колья, на колья укладывают и крепко привязывают к ним жерди, на них насыпают хворост, поверх которого кладут плоские камни. Все это сооружение укрепляют снизу подпорками, косо упирающимися в ту же скалу. Получается что-то вроде балкона без перил шириной до полутора метров. Это и есть овринг. Длина некоторых оврингов достигает двух-трех сотен метров. Ходить по оврингам, даже если они исправны, опасно и неприятно. Но если овринг давно не отремонтирован, если камни просыпались сквозь

разлезшийся хворост в реку и в дырах под ногами несется бурая вода Бартанга, становится и вовсе не по себе.

До первого овринга мы добрались на второй день пути. Овринг был короток, всего метров тридцать, но на вид стар и ветх. Когда я ступил на него, он закрипел и зашатался. Обрато меня как ветром сдуло. Шакар Шамиров, рабочий родом из Шугнана, тоже не добился успеха: не пройдя и пяти метров, он совсем было перестал двигаться, потом, тихонечко ступая, вернулся, сплюнул и сказал, что неплохо бы вернуться домой, раз уж так получилось. Положение спас Гулямад, рабочий, взятый в отряд накануне в одном из бартангских кишлаков. Он молча прошелся по всему оврингу, попрыгал кое-где для пробы и сказал, что овринг хороший, крепкий, только починить его надо немного.

Командование парадом перешло к Гулямаду. Мы с Шакаром таскали хворост, обрубали ветви прибрежных ив, выворачивали на осыпи плоские камни и все это сносили Гулямаду, который ловко ремонтировал овринг. По всему было видно, что дело это для него привычное. Часа через два все было готово. Я прошел по оврингу туда и обратно, и, хотя он скрипел и шатался по-прежнему, уверенность Гулямада передалась и мне. Мы начали проходить овринг сложным маневром. Сначала перенесли на себе груз. Потом Гулямад расседлал коня и мула, снял с них уздечки, подвел коня к оврингу, встал позади и слегка шлепнул его по крупу. Это был решающий момент. Копя за светло-серую масть звали Зайчиком. Был он холен, хорошо упитан на травах ботанического сада, тяжел, избалован и норовист. Если он откажется идти, то заставить его нельзя будет никакими силами. Зайчик долго нюхал камни овринга, потом осторожно ступил на него и медленно пошел, все время что-то вынюхивая под ногами. Прошел овринг, встал на твердый склон и обернулся, как бы требуя похвалы. Тогда мы отпустили мула. Он всегда верно следовал за Зайчиком и сейчас, видя его на той стороне овринга, смело пошел вперед и прошел благополучно. Потом по одному перешли к копиям и поклаже мы. Испытание было выдержано.

Завьючив мула и Зайчика, двинулись дальше, обогащенные не только переживаниями, но и ценным опытом. По правде говоря, этот опыт пригодился лишь частично, поскольку каждый овринг был совершенно индивидуален и тактику проходки в деталях приходилось



менять. Но мы уже верили в свои силы и в мудрость наших животных, а вера — великая сила.

Когда мы прошли наш первый овринг, я стал спрашивать Гулямада: что это кони вынюхивают под ногами на овринге? Гулямад усмехнулся:

— Я нарочно старые камни, что лежали на овринге до нас, оставил везде, где можно было. Конь идет и боится. Нюхает — ходили до него другие кони или нет? Если ходили, уже не страшно. И шагает. А старые камни на овринге всегда конем пахнут.

Н-да! Целая наука...

Некоторые скальные откосы с оврингами можно было обойти сверху. Тогда мы двигались вверх по склону извилистой тропой, поднимались, обливаясь потом, в лучшем случае на полкилометра, а иногда и на полтора. Потом следовал крутой спуск, когда выюки сползали коням на загривки и постоянно требовали дополнительного крепления. Спускались к Бартангу метрах в трехстах выше того места, с которого начинали подъем, но уже за оврингом. Количественный выигрыш был ничтожным, но качественный — бесспорным: не нужно было проходить овринг, нервничать и рисковать.

Проходка оврингов и подвижных троп на осыпях, постоянные перевьючивания животных, затяжные обходы скал поверху из-рядпо нас выматывали. За день мы редко продвигались вверх по ущелью больше чем на десять — двенадцать километров. Правда, много времени отнимала и работа — описания растительности, сбор гербария, необходимые измерения.

На четвертый день пути подошли к симпатичному зеленому кишлаку, который прилепился на подмытой террасе и жил за счет поливных полей и садов да скота, выпасаемого на верхних пастбищах над ущельем. За неторопливым чаепитием мы узнали, что верхние овринги по этому берегу обрушились и пройти там нельзя, но по противоположному берегу путь надежный. Я посмотрел на ревуший Бартанг и поежился: «А как туда перебраться?» Мне сказали, что ничего нет проще, надо только дождаться бригадира. Он вернется к вечеру с пастбищ и тогда все устроит.

Бригадир оказался молодым долговязым парнем. Узнав, что нам нужно переправиться через Бартанг, он сказал, что делать это надо утром, когда воды будет поменьше и кони по известному ему броду

смогут перейти. Потом он кликнул добровольцев и собрал со всего кишлака турсуки. Это бараньи шкуры, снятые целиком, как чулок. Все отверстия в шкуре туго завязаны, кроме одного. Через него шкуру надувают и тоже завязывают. Получается пузырь. Десяток таких пузырей-турсуков привязывают к раме из жердей. Получается миниатюрный «Кон-Тики». Все приготовления делались обстоятельно и неторопливо. Задача заключалась в том, чтобы переправиться в два приема, не больше, иначе у коней от холода может случиться судорога.

Рано утром подъехали к броду. Рассвет чуть брезжил, было холодно, и от мысли, что сейчас нужно лезть в ледяную воду, по спине бегали мурашки. Часть поклажи положили на турсуки, часть, крепко привязав, оставили на коне и муле. Двое добровольцев вскочили на них и, пронзительно крича, погнали животных в воду. Где-то на середине реки вода чуть не опрокинула мула, но он устоял и вырвался на тот берег. Между тем бригадир велел мне раздеться и лечь на турсуки рядом с поклажей вниз животом. Потом столкнул турсучный плот в воду, сам в чем мать родила вспрыгнул на него, и мы помчались вниз по реке. К берегу мы пристали в полукилометре от того места, где вышли из воды Зайчик и мул. Развьюченных, их снова прогнали через Бартанг, на них уселись Шакар и Гулямад и благополучно переправились. Бригадир переплыл на турсуках на свой берег. Вся переправа заняла считанные минуты. Когда, помахав нам на прощание, бригадир с товарищами потащили плот к себе в кишлак, а мы, вздрагивая от холода, одевались, еще не рассвело до конца и в нашем распоряжении был длинный день, полный неожиданностей...

Неожиданности на Бартанге не заставляют ждать себя долго. Мост через Бартанг вполне соответствовал той характеристике, которую ему дали несколько часов назад жители другого кишлака, в котором мы тоже чаевали и говорили о дороге. Нам сказали, что мост цел и что по нему свободно проходят кони. Как раз то, что нам нужно. Мост был действительно цел. Ширина его, метра два, была достаточной, чтобы прошли конь и мул. Перил у моста, конечно, не было, поскольку мост был рассчитан на местных жителей, у которых голова никогда не кружится от такого пустяка, как несущая внизу вода. Это был типичный перекидной мост, какие сплошь да рядом строили раньше в Таджикистане. С обоих берегов укладывались переложенные камнями бревна так, чтобы каждый верхний ряд выдвигался над нижним в

сторону середины реки. Верхние ряды бревен, далеко выдвинутые с обоих берегов навстречу друг другу, соединяли длинными жердями, поперек которых укладывали и привязывали прутья или доски. В данном случае были доски. Это был очень хороший мост. Все мосты этой конструкции пружинили и прогибались под ногами. Они могли и раскачиваться, наподобие качелей. Но этот мост выглядел вполне внушительно.

Первым на него взошел Гулямад с мулом на поводу. Я шел сразу за мулом. Прошли вполне благополучно. Но когда я оглянулся, мне стало не по себе: Шакар с Зайчиком на поводу не дождался, пока мост перестанет качаться после нас, и смело пошел вперед. Длина моста была метров двенадцать. Я увидел Шакара с конем уже на середине. Мост раскачивался, как качели в парке, и Зайчик шел как-то не лошадиному, широко расставив ноги, а Шакар шагал впереди, ничегошеньки не замечая. В любую секунду коня могло сбросить в реку, а за ним полетел бы и Шакар, намотавший повод на руку. В ту же секунду я вспомнил, что плавать Шакар не умеет. Да если бы и умел... Внизу не река, а мясорубка. В какой-то момент Шакар взглянул на меня. По-видимому, лицо мое было достаточно выразительным, так как он тут же бросил повод и вмиг проскочил мост. Не желая отставать, Зайчик ударил в галоп и в два прыжка оказался рядом с нами. Такого обращения с собой мост не вынес: одна продольная жердь лопнула и провисла, часть досок слетела в кипящую воду, но... мы были уже на другом берегу. И тут мы начали хохотать, вспоминая все детали переправы. Хохотали долго. Кажется, это называется нервной разрядкой...

Сентябрь надвигался на нас быстрее, чем мы продвигались к цели. Когда мы добрались до Рошорвских даштов, что расположены на высоте трех тысяч метров, с утра стало примораживать. За неделю мы прошли всего девяносто километров и поднялись лишь на километр. А сколько раз по пути мы поднимались и на километр, и на полтора, а потом снова спускались к Бартангу! Километр подъема оказался, так сказать, суммарным итогом за неделю. Маловато!

Даштами в Таджикистане называют плоские места в горах. Рошорвские дашты — это древние террасы. К Бартангу они обрываются почти полукилометровой стеной, и добираться до них надо было по оврингу, построенному в виде зигзага. На даштах нам

предстояла работа дней на пять. Когда мы ее выполнили, двинулись дальше. Предстояло пройти еще километров тридцать, подняться на Усойский завал, а там и Сарезское озеро. Но сначала нужно было спуститься с Рошорвских даштов к притоку Бартанга — реке Рохац. Поскольку овринг был уже знаком нам по подъему, обратный путь опасений не вызывал.

Сначала действительно все шло нормально. Овринг петлял крутыми зигзагами, то расширяясь на скальных площадках, то снова сужаясь. На одном из поворотов завьюченный мул встал. Поскольку пять дней назад он прошел это место завьюченным, я счел его остановку капризом и стал подгонять животное камчой. Ни в какую! Мул словно врос в овринг. Он косил на меня глазом, вздыхал, но не двигался. Шакар понаблюдал некоторое время эту сцену, а потом сказал:

— Знаешь, мул — он, конечно, ишак. Но давай на этот раз его послушаемся. Не зря же он упрямится.

Мула развьючили, и он тут же шагнул вперед, прошел поворот и остановился, покорно дожидаясь, пока его снова завьючат. Только тогда я догадался, в чем дело. Оказывается, при переходе снизу вверх мул ступал на этом повороте овринга с узкого места на широкое, при обратном же ходе ему предстояло, круто развернувшись, ступить на узкий карниз. Вьюк при этом мог зацепиться за скалу, а мул — сорваться вниз. Мул понял все это значительно раньше меня. Нет, мул явно не был ишаком...

К реке Рохац благодаря мулу мы спустились благополучно. Но при переправе через эту бурную, уже знакомую нам речушку Зайчик оступился, рухнул в воду, сбросил с себя Гулямада, бережно прижимавшего к груди собственные штаны, которые он желал потом надеть сухими, и ухитрился стряхнуть с себя вьюки. Наверное, их крепление ослабло при спуске. Зайчик и Гулямад выскочили на противоположный берег. Штаны Гулямада унесло. Вьюки, зацепившиеся за камень, удалось вытащить. Но... этот эпизод уже предопределил неудачу похода. Дело, конечно, не в том, что Гулямад остался без штанов: мой старый комбинезон понравился ему даже больше, чем уплывшая деталь гардероба. Беда была в том, что большая часть продовольствия, фотоаппарат, альтиметр и многое другое

снаряжение от пребывания в воде пришли в полную негодность. После двухчасовой инвентаризации стало ясно, что нужно возвращаться.

И на этот раз добраться до Сарезского озера не удалось...

### **ПУТЬ ТРЕТИЙ**

Парадом снова командовал Гурский. Теперь нас было пятеро. Кроме Гурского и меня в походе участвовали геоморфолог Р. И. Селиванов, его коллектор В. И. Андреев и рабочий ботанического сада Миралибек. Транспортным средством служили те же Зайчик и мул. На них была завьючена вся поклажа. Люди шли пешком.

Обсудив весь накопленный нами опыт продвижения к Сарезу, мы решили летом 1957 года идти наверняка, то есть южным путем, относительно торным. Путь шел через перевал Лянгар на условном стыке между хребтами Рушанским и Северо-Аличурским, переходящими друг в друга без заметного перерыва.

Против кишлака Байкала, что стоит на Памирском тракте, мы переправились в три приема через Гунт, широко расплескавшийся здесь по каменистым перекатам, и пошли вверх по реке, начав свой путь с абсолютной высоты три тысячи метров. Было еще несколько переправ через притоки Гунта. Тропа становилась все менее заметной. Видно, не часто заходили сюда жители нижних гунтских кишлаков.

Сначала мы проходили мимо пойменных лесов Гунта. Потом свернули в долину реки Лянгар. По мере выматывающего подъема, не требовавшего, правда, никаких технических ухищрений, наши сапоги то шуршали по кустам полыни и жесткому ковылю, то хрустели по колючим растениям-подушкам и наконец стали поскрипывать по эдельвейсам и мелколепестникам. На высоте 4600 метров подъем кончился. Перевал Лянгар. Начали спуск в озерную котловину Уч-Куль, лежащую всего на триста метров ниже перевала. От котловины тропа ринулась вниз вдоль круто падающей реки, стекавшей к Сарезскому озеру. Высотные пояса пошли в обратном порядке. На подходе к озеру в долине появились можжевельниковые редколесья, кусты жимолости, шиповника, смородины, ивы. Тропа скатилась к отметке 3239 метров. Перед нами сверкал неправдоподобной синевой

Ирхтский залив Сарезского озера. Весь путь от момента переправы через Гунт занял три дня. И... никаких приключений.

Вечером работники метеостанции угощали нас вкусной дикой козлятиной, пространно отвечали на наши расспросы о их жизни и работе, наперебой спрашивали нас. По всему было видно, что нам рады. Не потому, что это мы, а потому, что гость в этих местах редок да и вообще на Памире гостеприимство традиционно и являет здесь свои лучшие образцы.

С утра начали работу, каждый свою. Я ползал по осыпям, уходившим прямо в воду залива. Таких гигантских осыпей я до тех пор не видывал. Добрых полкилометра по вертикали каждая, они почти целиком перекрывали склоны гор в окрестностях залива. На осыпях росло множество интересных для меня растений, и гербарная папка к концу дня едва вмещала собранную коллекцию. Чтобы взобраться на верхнюю часть осыпи, приходилось долго пыхтеть, преодолевая не только крутизну уклона, но и сползавшие под ногами камни. Зато вниз я скатывался за несколько минут. Перебирая ногами, в клубах пыли я скользил вниз вместе со щебнем прямехонько в воду. Она была до того прозрачной, что на подводной части склона на большую глубину был виден каждый камень. Бросил монету. Прошла чуть ли не минута, но мелькание серебряного кружочка в глубине еще виделось. Попробовал искупаться. Нырнул, но тут же выскочил как ошпаренный: вода была ледяная. Увидев меня одевающимся, Гурский поинтересовался, как водичка. Я сказал, что вода отличная. Он мигом скинул с себя все и кинулся в воду. Вынырнул, подмигнул мне и стал неторопливо плавать. Розыгрыш не получился.

Через несколько дней, закончив работу в окрестностях залива, решили сходить на Усойский завал — цель нашего путешествия. К вечеру надо было вернуться на метеостанцию, поэтому вышли мы чуть свет. Миралибек тащил на себе треногу, Андреев — теодолит, остальные загрузились рюкзаками с едой на день и снаряжением, а конь с мулом остались пастись возле метеостанции. Тропа сначала шла вдоль берега залива, потом стала очень круто забирать вверх, и мы выбрались на перевал Шадау.

С шестисотметровой высоты озеро выглядело до того красивым, что дух захватывало. Бывшая долина Мургаба была залита водой цвета берлинской лазури. Причудливо изгибаясь, озеро терялось на востоке

за несколькими выступами склонов. Слева под нами был виден Усойский завал, в который упирались все эти кубические километры синей воды. Сбоку от завала лежало еще одно озеро — маленький Шадау-Куль. С другой стороны был виден участок музкольского склона, с которого сорвалась в 1911 году вся масса завала. Тишина космическая. Даже ветра не было. Разговаривать не хотелось. Стояли, смотрели, совершенно зачарованные. Потом спохватились, стали фотографировать. Гурский предложил каждому из нас вообразить, как выглядела долина до затопления. Это было нетрудно: в 1883 году горный инженер Д. Л. Иванов составил удивительно точное описание этой части долины Мургаба, тогда цветущая и приветливой, а теперь затопленной холодными водами...

Спустились к Усойскому завалу. Это было грандиозное сооружение, сложенное каменными глыбами, часть которых превышала размером двухэтажный дом. Глыбы громоздились хаотически. Некоторые из них качались, когда на них ступали, и тогда становилось страшновато. С внутренней стороны завала вода завихрилась воронками. Бросил в воду спичку. Ее быстро затянуло в глубину. Туда же ушел и брошенный куст полыни. Это вода фильтруется через пустоты завала. Точная дата его образования делала завал привлекательным объектом изучения для ботаников. Можно было провести инвентаризацию флоры и установить, какие растения поселились здесь за сорок шесть лет. Этим мы с Гурским и занялись. А Селиванов с Андреевым стали прокладывать теодолитный ход через завал. Оказалось, что самая низкая перевальная точка завала возвышается над озером на сорок, а над внешним подножием завала — на двести десять метров. Получалось, что вода озера выбивалась из-под завала на сто семьдесят метров ниже его зеркала.

Гурский спилил корявый куст терескена, подсчитал годовые слои. Усмехаясь, предложил подсчитать и мне. Подсчитал. Получилось более семидесяти лет.

— Ну и что? Бывают терескены и постарше, лет по триста.

— А возраст завала? — подсказал Гурский.

И верно! Куст терескена был старше Усойского завала, на котором он рос, лет на тридцать. Как это могло случиться? Гурский пояснил: когда-то этот куст рос по правому борту долины Мургаба. Во время

катастрофы 1911 года вместе с массами породы и почвы куст пролетел около четырех километров, рухнул сюда и... выжил.

Через час выяснилось, что кустов и растений-подушек в возрасте старше завала было несколько. Живые свидетели катастрофы, к сожалению, молчаливы. Вокруг этих старых растений поселились на завале и молодые. Установили, что за последние сорок шесть лет на завале поселилось двадцать видов растений. Совсем неплохой темп зарастания.

Когда мы спустились к вырывавшемуся из-под завала Мургабу, Гурский удивился: фронт воды достигал нескольких сот метров. За восемь лет до этого, сказал Гурский, фронт был вдвое меньше. Вода как бы выдавливалась озером через завал сотнями белых струй. Шум стоял невообразимый. Ниже разрозненные потоки сливались в единое русло Мургаба.

...День клонился к вечеру. Чтобы вернуться на метеостанцию, нужно было подняться на завал, пройти через Шадау и километров пятнадцать пологого спуска по осыпям. Добраться до темноты нечего было и думать. И тут у Гурского неожиданно возник новый план. Он вообще был мастером подобных импровизаций. Он предложил вообще не возвращаться, а двигать вниз по Бартангу и вернуться в Хорог с другой стороны, сделав кольцо в двести километров. Селиванов и Андреев бурно поддержали идею. Ни они, ни Гурский до этого по Бартангу не ходили. А я ходил. Для меня этот маршрут не представлял особого интереса, и я настаивал на возвращении к озеру, к которому я так давно стремился. Но их было трое, к тому же они не знали бартангских дорог, им необходим был мой опыт, и мне пришлось уступить. Еды у нас при экономном расходовании хватило бы еще на день. А там пойдут населенные пункты — не пропадем. Правда, не было спальных мешков, но ведь мы должны были двигаться вниз, к теплу...

Написали записку друзьям с метеостанции, отдали ее Миралибеку, нагрузили на него треногу с теодолитом и велели возвращаться к заливу и ехать обратно в Хорог пройденным уже маршрутом. Сами же померзли ночку под завалом и с рассветом двинулись вниз по Мургабу, а потом по Бартангу. К вечеру впереди показалась стена Рошорвских даштов. Для меня круг замкнулся. Для моих спутников он замкнулся в Хороге через пять дней.



С тех пор прошли богатые событиями годы. Но я никогда не забуду, как только с третьего захода попал на Сарез... всего на четыре дня. Не забуду и лазурную тишину этого уникального озера, угрожающе нависшего над ущельем Мургаба-Бартанга. Впрочем, через год после нашего третьего похода на Сарез эта тишина была нарушена: экспедиция Кирилла Владимировича Станюковича спустила на сарезскую воду моторно-парусный плот и положила на карту растительный покров района, не считающегося с тех пор малоизученным. К началу шестидесятых годов был рассчитан и водный баланс озера. Оказалось, что каждую секунду в озеро поступает сорок девять кубометров воды, через завал фильтруется чуть больше сорока семи кубометров, но разница около двух кубометров в секунду не накапливается, а испаряется, и уровень озера остается стабильным. Прорыва Усойского завала ожидать не приходится. К счастью...

Еще через несколько лет по Бартангскому ущелью пробрили автомобильную дорогу. Другую дорогу, по Кударе, тянут к Рошорвским даштам. Овринговая экзотика уходит в прошлое.

...Осенью 1968 года в шести тысячах километров от Сарезского озера на экране кинотеатра я прочел свою записку, подвешенную за четырнадцать лет до этого к одинокой иве на берегу Мургаба перед каскадом в конце нашего сплава. Записка провисела на дереве двенадцать лет. В 1966 году я рассказал о ней начальнику киноэкспедиции Андрею Вагину. Экспедиция собиралась повторить наш сплав на Сарез, но уже на более высоком техническом уровне. Вагин разыскал меня на Западном Памире, чтобы учесть наш опыт. И учел. Экспедиция обошла непроходимый каскад с помощью каравана, предусмотрительно посланного ей навстречу по долине Западного Пшарта, и благополучно доплыла на надувном понтоне до Сарезского озера. И отсняла интересный кинофильм. Моя записка в документальном киносюжете послужила своеобразной завязкой.

Вот, кажется, и все. Впрочем, нет... В шестидесятых годах мне довелось подолгу летать над Сарезским озером на специальном самолете экспедиции. Сверху озеро производило грандиозное впечатление. Но это уже было не то. Для былого очарования чего-то не хватало. Может быть, трудностей пути? Или молодости?



# ВОКРУГ ПИКА МАЯКОВСКОГО



## *ПОИСКИ АБХАРВСКИХ ЛЕСОВ*

Лесов на Памире мало. Собственно, настоящих лесов на горных склонах и вовсе нет. Имеются лишь узенькие ленточки зарослей ив, тополей, облепихи и жимолости в поймах рек. И занимают эти ленточки всего 0,17 процента территории советского Памира. Это — по подсчетам профессора А. В. Турского. Поэтому каждый маломальски заметный массив этих пойменных лесов взят под контроль и осторожно эксплуатируется. Там есть лесничества, которые не только контролируют рубки, но и занимаются посадками молодого леса, расчисткой старых участков, вообще культурным ведением лесного хозяйства. Такие лесничества имелись в долинах Шахдары, Гуита и Ванча. В остальных долинах пойменных лесов почти нет. Поэтому не удивительно, что Гурский, сам лесовод и дендролог, спал и во сне видел то новые, неоткрытые еще массивы горных тугаев, то искусственные, посаженные леса высшего бонитета. Что касается посадок, то дело снами не ограничивалось, и, где только можно, а часто и где нельзя, Гурский выискивал плацдармы для

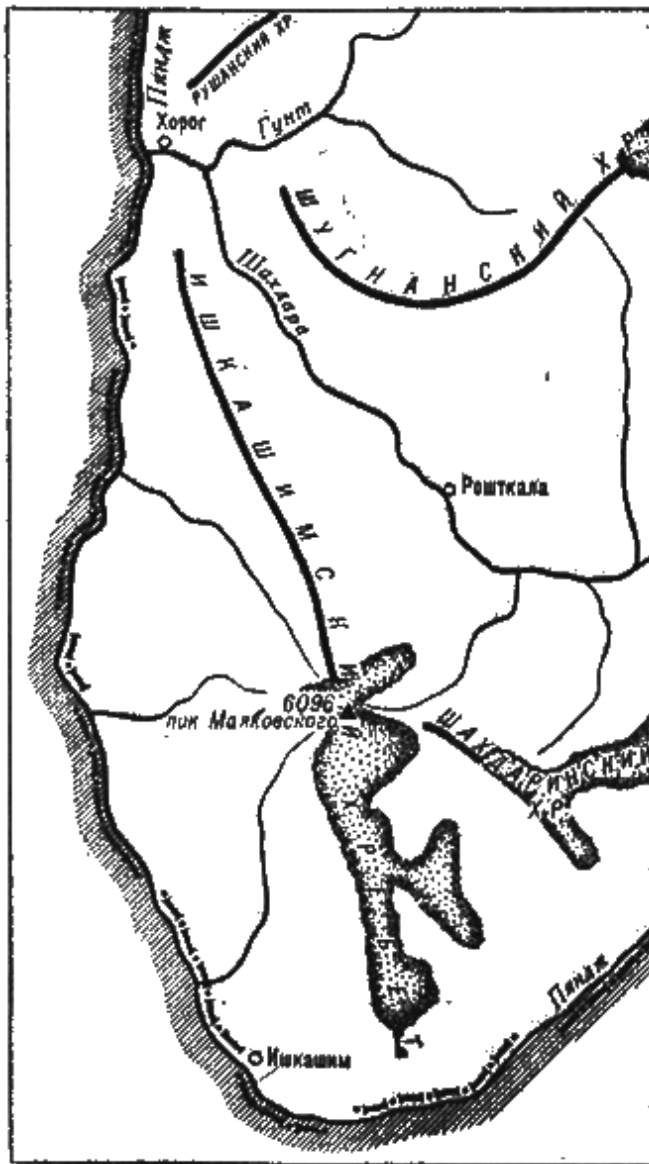
лесонасаждений. Это были галечные поймы западнопамирских рек, пески Вахапа, конусы выноса по Гунту, галечники Ванча, бровки арыков. Энергии Турского можно было позавидовать. Он заражал своим энтузиазмом не только работников лесного хозяйства, многие из которых были его учениками, но и председателей колхозов, комсомолию, школьников и даже пограничные войска. Он сумел убедить пограничное начальство в том, что деревья, высаженные по нашему берегу пограничного Пянджа, сыграют не только берегоукрепительную, но и политическую роль, украсив советский берег в противоположность голому афганскому. Это было в середине пятидесятых годов. Когда летом 1972 года я ехал по Пянджу и видел тут и там тополевые прибрежные насаждения, я вспоминал Турского и воспринимал ряды тополей как великолепный памятник этому энтузиасту.

Но насаждения насаждениями, а мысль о неоткрытых еще естественных лесных массивах время от времени посещала Анатолия Валерьяновича. Он был очень занятым человеком. Обязанности депутата областного Совета, директора ботанического сада, члена различных комиссий обкома, председателя местного отделения общества «Знание» и прочая, и прочая отнимали у Турского все время без остатка. В поездки он вырывался не так уж часто. Сам садился за руль и гнал машину по горным дорогам, имея перед собой не одну, а добрый десяток целей. Так и получилось, что не во все ущелья, которые его интересовали, он мог забраться, несмотря на то что прожил на Памире двадцать шесть лет.

Одним из таких ущелий была долина Абхарва, реки, стекающей с горного узла пика Маяковского на юго-запад, к Пянджу, в который Абхарв впадал километрах в десяти ниже райцентра Ишкашим. Там река выбросила в долину Пянджа огромный конус выноса, гектаров на четыреста. Гурский подозревал, что в этом ущелье можно было найти пышные пойменные леса. Соображений для такого предположения было предостаточно. Во-первых, говорил он, река течет на юго-запад и обращена как раз в сторону перевала Гоундара через соседний хребет Кохи-Ляль в Афганистане. Хребет этот перегораживает путь западным влажным ветрам. А раз так, то эти ветры прорываются через перевал и ущелье Абхарва должно быть увлажнено лучше, чем прилегающие части хребта. Во-вторых, Абхарв имеет три составляющие реки,

берущие начало в ледниках, и поэтому пойма Абхарва должна летом устойчиво увлажняться. В-третьих, ущелье слабо заселено, что для леса тоже хорошо. В-четвертых, неизбежные скопления снега в верховьях Абхарва, раз ущелье так удачно повернуто к влажным ветрам, должны способствовать лучшему сохранению лесов от вымерзания. Были доводы и в-пятых, и в-десятых, и среди них — высотное положение поймы в пределах пояса лесовозобновления и геологическая древность этого участка, что должно обеспечить хорошо выработанную пойму, на которой как раз и растут леса. И так далее. Получалось так, что лесов по Абхарву не может не быть. Но сам Гурский все как-то проскакивал ущелье мимо, торопясь по неотложным делам, и предположение оставалось неподтвержденным.

Летом 1957 года в составе целой группы специалистов я выехал в Вахап. Гурский посоветовал нам заглянуть по пути в Абхарвскую щель. Времени было в обрез, и мы решили, что высадимся в устье Абхарва, а остальная часть группы поедет дальше, поработает в Ваханс, а на обратном пути в условленное время заберет нас.



На Абхарв мы решили было подниматься вдвоем с зоологом Аркадием Васильевичем Поповым, прекрасным полевиком, стрелком, фотографом и ходоком. Но в последний момент к нам настойчиво пожелал присоединиться молодой ленинградский фитопатолог Эдик. Сейчас он доктор наук, руководит лабораторией и ходит при бобровом воротнике, а тогда он был молод, непоседлив, со склонностью к феерическим монологам и ходил в белой полотняной кепке и кирзовых сапогах, от которых пахло мокрой собакой. При всем при том явно чувствовалось, что Эдик талантлив, и мы с Поповым возражать не стали: умный человек никогда не в тягость.

Тропа сначала шла круто, но метров через триста подъема она вывела пас на пустынный склон и повела по волнистой кривой, уходящей все же вверх. Абхарв с его поймой остался внизу. Никаких лесов на пойме не было. Но это место слишком близко к дороге, чтобы леса сохранились, и их отсутствие еще ничего не доказывало.

Мы шли ровным шагом. Впереди Аркадий Васильевич, потом я, сзади Эдик. Мы с Поповым молчали, Эдик что-то говорил. Сначала мы слушали, потом отключились. Через час и Эдик примолк.

Еще через час он стал отставать, и мы сбавили ход. А еще часа через два Эдик сел и сказал, что ноги, странное дело, ну совсем его не слушаются и не хотят идти вверх. Мы убедили Эдика все же идти хоть как-нибудь, так как обратно ему уже идти некуда. Так и шли потихоньку. И чем дальше шли, тем больше меня удивляло отсутствие на абхарвской пойме лесов. Не то чтобы пойма была совсем голой: тут и там росли кустики ивы, облепихи, мирикарии. Но от куста до куста простирались голые галечники. И я понял, что ледниковое питание реки сработало не в пользу лесов, а против них. Половодье летом было слишком бурным, и вода сносила часть деревьев, а молоди мешала укорениться. Это был первый просчет.

К вечеру мы добрались до летовки в устье реки Худуск, одной из составляющих Абхарва. Здесь кустарниковая поросль была куда гуще. Вода поступала в это урочище с трех сторон, и во время половодья здесь не создавалось направленного в одну сторону разрушительного потока. Я сделал несколько описаний, собрал гербарий и начал ощипывать улара, подстреленного Аркадием Васильевичем. Предварительно, правда, он измерил, описал и взвесил улара, выпотрошил его и вообще внимательно изучил наш ужин с зоологической стороны. Эдик — куда девалась усталость — бегал от одного куста к другому, разыскивая галлы — опухоли на листьях и побегах. За ужином Эдик увлеченно рассказывал нам о своей гипотезе, согласно которой опухоли на растительных и животных тканях образуются благодаря одному и тому же механизму. Какому именно, я не понял — думал о своем. Уже сейчас было ясно, что леса Абхарва — чистейшей воды легенда, результат умозрительных построений, не более. Их просто нет, этих лесов. Вот завтра полезем вверх по одной из составляющих, посмотрим, что там.

С вечера договорились идти по реке Гайдаре, правой составляющей, в сторону пика Маяковского. На этом варианте настоял я. Уж если со стороны перевала Гоундара и задувает влажный ветер, то именно сюда, судя по ориентировке ущелья. Попова этот вариант тоже устраивал. А Эдик решил с нами не ходить, остаться возле вещей и собирать окрест свои галлы, которых тут, по его словам, было видимо-невидимо.

Утром чуть свет мы с Аркадием Васильевичем пошли вверх. Вчера мы начали подъем с высоты 2600 метров, ночевали на отметке 3100 метров, и сейчас мы в темпе набирали высоту. Из-за сухости леса на Памире забираются по ущельям иногда до 3800–3900 метров, и я не терял надежды найти хоть что-нибудь. Но что это? Днище Гандарва было начисто разутюженным. Ощипанные кустики шугнанской ивы, согнутые в одну сторону пожелтевшие полыни, высохшие остатки злаков, через которые пробивались молодые проростки. И все. Лишь по склонам растительность уцелела. Даже в устье реки, как стало видно сверху, кустарники на пойме были какими-то поредевшими.

— Лавина, — сказал Аркадий Васильевич.

Это действительно были последствия снежной лавины. Сейчас, к концу лета, снежная глыба тормы (остатка лавины) растаяла, и там, внизу, где она лежала, светлело голое пятно, как потом выяснилось, покрытое сплошным мусором, снесенным лавиной. Дальнейший подъем по Гандарву был бесполезен. Лесов там все равно не могло быть. Скопления снега на склонах тоже сработали против леса. Это был второй просчет.

Мы спустились к нашему биваку. Эдика не было. Решив, что он ходит где-нибудь рядом, мы пошли по средней составляющей. Кустарники возле воды росли густо, и я робко надеялся хотя бы здесь найти что-то похожее на густые пойменные леса. Но крутой подъем вскоре кончился, и мы увидели удивительной красоты долину, почти плоскую, широко размахнувшуюся. Только внизу, там, откуда мы пришли, долина круто обрывалась к Абхарву. Это был древний ледниковый трог. Когда-то ледник заполнял эту долину почти полностью. Он сковывал холодом свое ложе, консервировал его, оберегая от глубинного размыва. Но страна продолжала подниматься, и вытекающие из-под ледника воды глубоко врезались в породы. Основная долина Абхарва, свободная от ледника, углубилась, а та ее



часть, что была под ледником, осталась плоской. Потом потеплело, ледник быстро растаял, а его плоское ложе повисло в виде ступени над переуглубленным Абхарвом. Такие висячие долины на Западном Памире не редкость. Эта долина была красива почти до неправдоподобия. Дно ее было зеленым от кобрезиевых, осоковых, лисохвостовых лужаек. Прозрачайшая вода струилась несколькими потоками по дну трога. На теневой стороне потоков на травах висели сосульки льда. Склоны круто вздымались от плоского дна, а за ними слева виднелась ослепительная шапка ледников группы пика Маяковского. На фоне синего-синего неба ледники сверкали так, что даже через темные очки больно было на них глядеть. Ледяные сосульки на травах искрились, травы пахли удивительно свежо.

Попов ускакал на своих длинных ногах куда-то вбок, заслышав свист сурка, а я стал делать описание лугов. Лесов опять не было. Высота три с половиной тысячи метров. По идее здесь еще могли расти ивы. Но плоское дно долины полностью исключало такую возможность. На плоском дне всегда скапливается холодный застойный воздух, и любая ива здесь вымерзнет. Опять просчет!

Эдик выскочил из-за камней так неожиданно, что я вздрогнул. Оказывается, он увидел, как мы с Поповым поднимаемся вторично, удивился, что мы идем не туда, куда собирались, встревожился и кинулся вслед. Эдик был взмокшим и тяжело переводил дыхание. Аркадий Васильевич встревожился было насчет оставленных без присмотра вещей, но я успокоил его: на Памире не воруют.

Через полчаса Эдик застучал зубами. Кинувшись за нами, он повесил свою штормовку на какой-то куст, чтобы не мешала, и теперь ветерок с ледников пробрал его. Идти вниз без нас не захотел. Я отдал ему свитер, а сам остался в штормовке. Через час и я стал подмерзать. Выругав Эдика за легкомыслие, мы спустились к биваку, а утром уже вышли к Пянджу, где нас ждала машина. Когда мы делились впечатлениями, Аркадий Васильевич упомянул красоту пика Маяковского.

— Как пика Маяковского?! Где он? — Эдик даже подскочил.

Я стал объяснять ему, что это та вершина, которая виднелась над трогом, в котором он появился перед нами столь неожиданно.

— Что же вы мне раньше не сказали?! — отчаивался Эдик.

Когда мы вернулись, Гурский спросил об Абхарве. Вздыхая, я с грустью, как о тяжком известии, стал говорить ему, что лесов по Абхарву нет. Каково же было мое удивление, когда Анатолий Валерьянович уверенно стал доказывать мне, что там, на Абхарве, и не может быть лесов. Снова последовало «во-первых», «во-вторых», «в-третьих»... Были там, среди доказательств, и температурные инверсии, и лавины, и бурное половодье, и многое другое, чего я, по его словам, не заметил. Я слушал его и восхищался стройностью его доказательств, чувствуя себя последним дураком. Так я до сих пор и не знаю: то ли Гурский разыгрывал меня, то ли он легко поддавался гипнозу собственных построений. Но в любом случае я вспоминаю об этом походе с удовольствием. Как, впрочем, почти о любом другом.

### **«УБИЙСТВО»**

...Прошлой ночью было легкое землетрясение. Обычно после трудного дня разбудить нас нелегко. Но при сейсмическом толчке все мгновенно проснулись: привычка. Послушали, как камни со стуком катятся по склону, прикинули, что это далеко от нас, и, подождав еще немножко, снова уснули. А этой ночью в горах грохнул взрыв. Выскочив из палатки, я увидел, что уже брезжит рассвет. Полез было снова в спальный мешок, но мысль зацепилась за вопрос: кому это понадобилось что-то взрывать в такое неподходящее время? Сон ушел. Сегодня по плану был камеральный день. Все должны были приводить в порядок коллекции, карты, описания. В такие дни я давал сотрудникам отоспаться. Судя по всему, они собирались полностью воспользоваться этой возможностью: взрыв не произвел на них ни малейшего впечатления. А у меня этот взрыв не выходил из головы. Разбудив дежурного, я сунул в карман сухарь с горстью сахара и отправился вверх по ущелью. Через час я увидел место взрыва. Внизу, на осыпи, лежало изуродованное дерево арчи, а вверху, на скале, светлело пятно свежее-взорванной породы, среди которой виднелось темное пятно. Я полез вверх. Пятно оказалось арчевым пнем. Он не был спилен. Его торец был оторван взрывом и щетинился беспорядочными обломками древесины.

Приходилось ли вам видеть, как плачет изуродованное дерево? Страшное это зрелище! Сбоку в скале зияла рваная дыра, в которую и был заложен взрывпакет. Ствол взрывом оторвало и сбросило на осыпь, но пень удержался. Дерево было здоровое и не совсем старое — лет триста всего. Для арчи в горах это не старость. Узловатые корни так крепко вцепились в породу, что как бы слились с ней. Даже взрыв не сумел оторвать их, корни до конца выполнили свою удерживающую функцию. Сейчас погубленное дерево плакало. Густые капли смолы скапливались в углублениях между уродливо торчащей из торца щепой и стекали по коре на осиротевшие камни. Я потрогал кору. Она была теплой, наверное от взрыва или от вечернего вчерашнего солнца, но казалось, это от страдания подскочила температура. Утренний холодный ветерок с ледников пика Маяковского трепал повисшую вдоль пня щепку, и она жалостливо постукивала. Кругом виднелись уцепившиеся за выступы скалы оторванные взрывом ветки с живой еще хвоей. Я постучал по пню ледорубом. Звук был дребезжащий: видимо, пень где-то треснул. Я поглядел вниз на темневший труп величественного еще вчера дерева. Подумал, что хорошо бы поймать «убийцу». По-другому браконьера называть не хотелось: злодейство было жестоким.

Пока шагал вниз к лагерю, размышлял об убитой арче. Их мало уже осталось в этих краях. Когда-то, тысяч триста лет тому назад, арча не была здесь редкостью. Предполагалось, а позже подтвердилось данными палинологии (метода изучения геологического прошлого по остаткам спор и пыльцы), что более теплый и влажный климат позволял здесь расти хвойным лесам, примерно таким же, как те, что растут сейчас в Гималаях. Еще раньше эти леса были густыми и состояли из елей, пихты, сосны. Арча жила тогда на самом верху лесного пояса. Потом стало холоднее и суше, так как горы поднялись и отгородили Памир от влажных ветров Индийского океана. Гималайские леса остались южнее Гиндукуша, а здесь, на юго-западе Памира, сохранившийся лесной островок постепенно обеднялся, редел и превратился в редкостойные заросли арчи, сумевшей перенести тяжелые условия жизни. Потом поредели и они. Помог этому и человек. Еще в прошлом веке путешественники отмечали в своих записках трудности пути по долине верхнего Пянджа, по Вахану из-за густых зарослей пойменных лесов. Теперь этих лесов нет. Лишь в

боковых ущельях осталась самая малость. Дошел черед и до арчовых редколесий. Те, что были поближе к жилью, вырубали в первую очередь. Отличное это дерево — арча. Древесина плотная и смолистая, горит жарко. А ежели встретится ровный ствол, то бревно из него — на века. Вот и рубили. Остались лишь те арчи, до которых добраться трудно, — на скалах. Старые, иные по тысяче лет, деревья, кривые, с перевитой жгутом древесиной, росли одиночно на скалах, как напоминание о былом лесном богатстве этих мест. Рубить их трудно: древесина плотная. Да и растут они неудобно, иной раз рубцику и встать негде. Вот и приспособились взрывать. Как этой ночью. Тайком. Потому что арчу уничтожать запрещено.

Я собирался вернуться к поверженному дереву с подмогой и подстеречь браконьеров: раз взорвали, непременно придут за деревом. Но, не дойдя до лагеря, я увидел идущих мне навстречу старика и подростка. Они погоняли старого облезлого ишака, а за поясом у старика виднелся топор — теша. Я пропустил их мимо, буркнул что-то в ответ на «салом аллейкум», посмотрел им вслед и тронулся за ними.

Это и были «убийцы». Дряхлый седой старик в старом ватнике и сыромятных пехах (кожаные чулки, заправленные в галоши) да лет пятнадцати мальчишка в столь же непарадной одежонке. На убийц они были похожи меньше всего.

Когда я нагнал их, старик споро обрубал тешой сучья у арчи, а мальчишка связывал их волосяными веревками и стаскивал вниз, к тропе. Последовало тяжелое объяснение. Фамилию старик сообщить отказался. Когда парнишка загрузил осла и погнал его вниз, я пошел следом, чтобы узнать, куда он везет дрова. Не мешало заодно узнать, откуда они берут взрывчатку. Так я шел за молчащим погонщиком и «разводил пары». А когда мы пришли на место, я увидел, что маленький кишлак как-то хмуро оживлен. Возле кибитки, где мальчишка сгрузил дрова, толпился народ. Увидев знакомого бригадира, я подошел к нему. Пообещал рассказать о взорванной арче самому Гулямаду Сарадбекову, начальнику областного управления лесного хозяйства. Бригадир молча выслушал меня, отвел в сторонку и коротко, но ясно изложил суть дела. Арчу взорвал он сам. Пакет взрывчатки выпросил у дорожников. Сам он в войну был сапером, взрывать умеет. А взорвал потому, что вечером умерла старая Гульчера. Она была в войну председателем колхоза, а потом

бригадиром. И два сына ее не вернулись с войны. И лук она лучший в области выращивала — в Москву на выставку посылали. А могилу по местному обычаю надо перекрывать арчовыми бревнами, чтобы навечно была кровля для Гульчеры. А сучья, раз уж дерево загубить пришлось, пойдут на дрова, чтобы стготовить поминальный ош для всего кишлака.

— А теперь иди жалуйся Гулямаду, — закончил бригадир.

Никуда жаловаться я не стал. То, что трехсотлетняя арча пошла на кровлю для могилы восьмидесятилетней Гульчеры, выроставшей и потерявшей на войне своих сыновей, не могло уместиться в рапорте. Конечно, произошло убийство старого дерева, налицо нарушение закона. Но кто сказал, что законы писаны против таких тружениц, как старая Гульчера?

## ***ЛЯДЖУАР — ГОЛУБАЯ МЕЧТА***

Ну кто же не знает, что такое лазурит? Наверное, все знают. В XIII веке на что уж мало знали в Европе о Памире, а уже тогда Марко Поло писал, что бадахшанская «лазурь прекрасная, самая лучшая в свете». Но даже худшей лазури на свете мало — бледные зеленые или голубые камни Прибайкалья и Чили. А лучшая, благородного цвета индиго — на Западном Памире и в Афганистане. И все. Больше на планете лазурита не нашли. Судьба любой вещи из ляпис-лазури полна захватывающих приключений. Специалисты легко узнают, на каком месторождении добыт лазурит, из которого сделана та пли иная вещь. И когда в гробнице египетского фараона находят жука-скарабея из бадахшанского лазурита, а из скифских погребений выкапывают бусы из афганского лазурита, воображение может построить фабулу сложного приключенческого повествования о том, как кусок лазурита, добытый на Памире, попадает в Фивы, а оттуда в конце концов в Эрмитаж пли Лувр. Но только воображение. История не сохранила ни одного достоверного описания сложных индивидуальных судеб синего памирского камня. Но судьба самого минерала известна. Когда-то лазуритом отделывали царские тропы и колонны храмов. Из него изготавливали безумно дорогую краску, которой писали небо

величайшие художники. Благодаря редкости и дороговизне лазурит временами в Китае попадал в обращение наряду с серебром и золотом.

На Памире лазурит называют «ляджуар». Этим именем зовется и река, на которой расположено месторождение. Река эта относится к бассейну Шахдары, а само месторождение предстает в виде отвесной скалы как раз напротив пика Маяковского, к северо-востоку от него. В отечественную литературу сведения об этом месторождении попали в 1894 году. Само месторождение было открыто заново в 1930 году советскими геологами. С 1972 года месторождение эксплуатируется. Таковы основные вехи его истории.

Когда в 1952 году я впервые приехал на Памир, Анатолий Валерьянович Гурский подарил мне малюсенький, в половину спичечного коробка, кусочек голубого камня. Сказал, что больше у него нет, ходить на Ляджуардару далеко и трудно и все, что он принес оттуда, раздарил. Камушек занял место в моей скромной коллекции, и со временем я забыл о нем. В 1954 году Михали Леонидович Запрягаев подарил мне лазурит размером с кулак. Мне и самому хотелось щедро дарить «кусочки памирского неба», как мы называли лазурит. Но проходили годы, а на Ляджуардару было никак не выбраться: дела одолевали. Я ведь не геолог, и специально за камнем ходить — только время терять. Но случай подвернулся.

В 1958 году с двумя рабочими и одним студентом я занимался паспортизацией пастбищ в средней части долины Шахдары. Нага маленький, из двух палаток, лагерь каждую неделю перемещался с места на место, а мы с утра до вечера пересекали профилями Шахдаринский хребет. Перевозил наш лагерь знакомый колхозный шофер, брат которого, Мирзобек, был заядлым охотником, таким местным Дереу Узала, знавшим окрестные горы, как собственную ладонь. Впрочем, трудно представить себе Мирзобека празднично разглядывающим свои ладони. Так вот, Мирзобек рассказал мне о том, как можно дойти до Ляджуардары. Поскольку в верховья Бадомдары все равно надо было попасть по соображениям паспортизации пастбищ, а Ляджуардара впадает в Бадом-дару именно в верховьях, мы решили, не снимая лагерь, вдвоем с рабочим прогуляться суток на пять к верхним пастбищам, а заодно заглянуть и на легендарное месторождение.

Сначала путь шел по левому берегу Бадомдары, по плавному склону, поросшему остепненными полыньниками. Через полдня мы пришли в кишлак Бадом. Там жил один из многочисленных родственников Мирзобека. Мы оказались гостями милого и радушного хозяина. За чаепитием я спросил его о том, что стало занимать меня по дороге. Слово «бадом» в переводе с таджикского означает миндаль. Но нигде окрест миндаля я никогда не встречал. Вот я и спросил хозяина: откуда же взялось такое название для кишлака и для реки? То, что я услышал, вносило в наши планы коррективы. Хозяин сказал, что миндаль и сейчас растет в одном из ущелий, а раньше, когда его берегли, миндаля было куда больше. Далеко ли отсюда это место? Да пет, день хода. Я решил, что лазурит подождет. Сначала надо найти миндаль. Если мы его найдем, это будет самым высокогорным местонахождением теплолюбивого кустарника. Поводив пальцем по карте, хозяин показал, куда идти. Потом продолжили чаепитие.

Рано утром вышли в путь. Тропа спустилась к реке. Пересекли один из притоков Бадомдары по мостику-бревнышку и стали работать. Вся пойма Бадомдары поросла разреженными ивняками. Туранская, шугнапская и вильгельмсова ивы тут и там цеплялись за галечный грунт и противостояли размыву. Местами разливавшаяся река захлестывала пойму, и там деревья стояли «по пояс» в воде. В устье впадавшей в Бадомдару речушки росли березы, тополя, облепиха, синеплодная и персидская жимолости, даже барбарис. Судя по объяснениям нашего хозяина, именно в этом ущелье следовало искать миндаль.

Мы прочесали это ущелье снизу доверху, нашли много интересного, сделали множество описаний, выстригли для определения урожайности тьму пробных площадок, по миндаля не обнаружили. Даже места более или менее похожего на то, где могли расти кусты миндаля, в этом ущелье не было. Расстроенный неудачей, вечером я долго, слово за словом, вспоминал подробности пояснений нашего хозяина и не находил никаких изъянов в нашем маршруте.

Утром пошли дальше по Бадомдаре выполнять первоначальный план. Мы то и дело влезали в воду, чтобы переправиться через многочисленные рукава, заполненные в это жаркое время бурной водой Бадомдары. К вечеру мы вышли к низовьям реки Ляджуар. Измученные бесчисленными переправами, кое-как поели, экономя

запасы, истощившиеся за липший день напрасных поисков миндаля, и крепко уснули.

На следующий день путь лежал вдоль Ляджуардары. Мы ощипывали ягоды с черной смородины, и это замедляло поход. Впереди слева виднелись ледники, нависшие над ущельем. Кругом — море обломочного материала. Внизу, у подножий склонов, каменные глыбы громоздились огромными валами. На склонах осыпи составляли основу пейзажа. Здесь уже почти ничего не росло. Припоминая наставления Мирзобека, я искал куст шиповника с привязанной к нему красной тряпкой. От этого куста надо сворачивать вправо. Искал, но не находил. Ругался: тоже мне ориентир — красная тряпка. Снова холодная ночь. А утром на склоне нашли тот самый куст. Тряпка совсем выцвела и истлела, по она была когда-то красной. Да будь она хоть фиолетовой, другого ориентира все равно не было. Мы начали подъем.

Весь путь наверх мы проделали за полдня. В основном по осыпям. Мы проходили их серпантинами. Так получалось длиннее, но положе. Начитавшись в свое время рассказов П. Н. Лукпицкого об ужасах этого пути, я все ждал, что дальше будет хуже. Но скоро мы выбрались к отвесной стенке. Я подумал было, что мы где-то ошиблись, но вскоре на осыпи под стеной мы нашли здоровенную глыбу лазурита. Рядом еще. Мы стали набивать синими камнями рюкзаки. Потом выбрасывали одни камни, брали другие, которые потемнее. В конце концов жадность довела до того, что рюкзаки стали неподъемными. Пришлось снова заняться сортировкой, которая продолжалась весь день.

Стена была совсем отвесной, светлой. На ней лазурита было мало, всего несколько вкраплений. Зато внизу, на осыпи, синие камни там и здесь бросались в глаза. Уже и карманы трещали под тяжестью камней, а мы все искали чего-то особенного. Наконец, обозлившись на себя, я выбросил из карманов и рюкзака все камни, отобрал из них несколько темно-синих и ограничил ими свою добычу. Нужно было еще поработать, и камни были бы помехой.

Под стеной зеленел мелкоземистый бугор, густо поросший первоцветом, крупками, желтушником, бескильницей. Ниже нашли участок с диким луком. Кругом же было царство камней. На противоположной стороне ущелья висели ледники, сверкали конусы



снеговых осыпей, вздымались скалы контрофорсов пика Маяковского. Сам пик не был виден: вершины были затянуты облаками.

Спускаться было поздно. Съев последнюю банку сгущенного молока с сухарями, мы завалились спать. Те, кто посещали это место раньше, в один голос рассказывали о плохом своем самочувствии на месторождении. Мне тоже было плохо: болела голова — высота как-никак более четырех с половиной тысяч метров, — мутило, беспокоил застарелый гастрит. Но ничего специфического в своем самочувствии я не заметил. О том, как мы мерзли, рассказывать не стоит.

Обратный путь был скорбным. Еда кончилась. Утром доели последние сухари. Весь день держались на плодах шиповника, облепихи и смородины. К вечеру нас накормили чабаны, гнавшие козью отару куда-то вверх по склонам. Потом мы снова пришли в Бадом. Наш хозяин был явно смущен тем, что его указания не принесли успеха. Накормив нас до отвала, он ушел и принес из соседней кибитки пяток косточек. Это, несомненно, был миндаль.

Через день мы были уже у себя на лагере. Каждый получил по куску синего камня. А еще через день пришел в гости Мирзобек, и его рассказ помог мне окончательно разобраться в причине нашей неудачи с миндалем. На самом деле миндаль рос не там, где показывал принимавший нас хозяин, а в ущелье по противоположному борту долины. Когда я расстелил карту, она оказалась по отношению к хозяину вверх ногами. Не очень разбираясь в топографии, хозяин тыкал пальцем туда, где, по его представлению, рос миндаль. А рос он в противоположной стороне. Всего десяток кустов, как сказал Мирзобек. Но — мне ни тогда, ни годы спустя уже не довелось посетить это место. Вскоре началось половодье, и нас срочно вывезли в Рошткалу, в райцентр. А через два года, когда я снова оказался в этих краях, за картировочными хлопотами я так и не выбрал времени для поисков самого высокогорного местообитания бухарского миндаля...

Четырнадцать лет спустя мне снова довелось побывать на месторождении лазурита. Вертолет доставил меня под самую стенку. В стене зияла штольня. Работал движок, стучали отбойные молотки, грохотали взрывы. Под стеной стояли бараки. Я оглядывался и не узнавал этого места. Рассказал о своих сомнениях начальнику. Он спросил, откуда мы тогда поднимались. Я показал.

— Так вы были тогда у восточной части стены, вон там. А мы отрабатываем западную, более богатую.

На этот раз я мог не считаться с весом и набрал лазурита побольше. Правда, это был уже не самый высококачественный ляджуар. Лучшие образцы отбирали для государства. А на память о первом походе у меня остался лишь один синий камень лазурита — мечты королей и фараонов, художников и князей церкви. Остальное я раздарил. Правда, осталась еще геоботаническая карта и две-три научные статьи. Но в них об описанных выше событиях ничего не сообщалось.



# ОПЕРАЦИЯ «ОДУДИ»



## *ТРИНАДЦАТОЕ ЧИСЛО. ПОНЕДЕЛЬНИК*

Корить было некого. Сам виноват. А еще считал себя образованным человеком! Надо было знать, что затевать поход тринадцатого числа да еще в понедельник — дело гиблое. Так и получилось. С утра поломалась машина, но я решил уехать на попутной. Потом Михаила, с которым мы договорились ехать вместе, начальство отправило в совершенно другую сторону. Но до меня еще не дошло, что во всем виновато тринадцатое число. Не понял я этого и тогда, когда обнаружил свой спальный мешок в арыке. Пока, пренебрегая предупреждениями судьбы, я суетился в сборах, пес, играя, затащил мешок в арык, а вынуть его оттуда и не подумал.

Мне бы тут и спохватиться, сообразить, что все это неспроста, по я запихал в рюкзак запасной мешок, который был мал и рван. Когда попутная машина, не проехав полпути, зачихала и встала, я было подумал, что неудачи пошли что-то очень уж густо, но додумать не успел. Из-за поворота появился новенький попутный бензовоз со свободной кабинкой и усыпил продравшую было глаза бдительность.

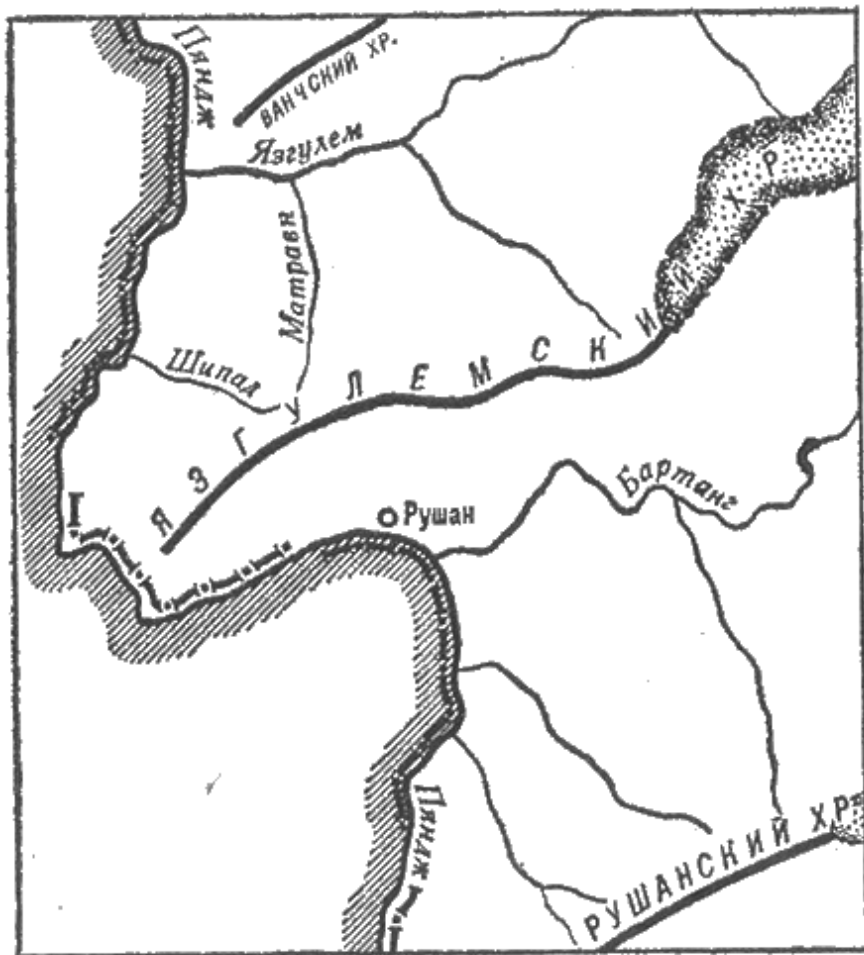
И только за полдень, подъехав к парому через Бартанг, я понял то, что должен был понять еще в шесть утра: ни одно серьезное дело нельзя начинать тринадцатого, да еще в понедельник. Сочетание неблагоприятных примет на этот раз реализовалось совершенно недвусмысленно. Машины перед паромом вытянулись на добрых полкилометра. Когда мы заняли очередь на переправу, нам сообщили, что паром не ходит из-за большой воды. Сходив к парому, я убедился, что даже у берега он трясется под бешеным напором Бартанга. На реку страшно было смотреть. Серые валы воды стремительно неслись влево, к Пянджу. Тросы, удерживающие паром, были натянуты до предела. Казалось, что они гудят и потрескивают. Но это гудела река.

Паромщики лежали на берегу под навесом и жевали. Водители окружили навес и допрашивали паромщиков о ближайших перспективах с таким пристрастием, будто у тех была лицензия на гидрологические прогнозы по всему Памиру. Слушать вялые ответы паромщиков я не стал. И так было видно, что сегодня переправы не будет. Вернувшись в конец колонны, я обнаружил, что очередь увеличилась. Машины все прибывали. То же самое происходило на том берегу. Не требовалось особой проницательности, чтобы предвидеть неуютный ночлег в обществе десятков, если не сотен людей, жаждавших переправы.

Я решил быть умнее всех и, завьючив на себя рюкзак, пошел потихоньку назад, к кишлаку, зеленевшему километрах в пяти от последней машины. Кишлак был знаком мне. Назывался он Ахзев. Когда мы сегодня проезжали его, вспомнил, что вроде бы тут должен жить бывший мой студент, ныне учитель. Если он там, можно и переждать. Учителя звали Давлятшо. Мы как-то встречались в Хороге, и он звал меня в гости... кажется, именно в Ахзев. Сейчас самое время нанести визит. Я шел к кишлаку и пытался вспомнить, какую оценку Давлятшо получил у меня на экзамене. Так и не вспомнил.

Давлятшо действительно жил в Ахзеве. Дома его, правда, не было. Он уехал вчера в Рушан и теперь застрял на том берегу, Милейшие старики, родители Давлятшо, радушно приняли меня, накормили горячей лепешкой и сладким сухим тутовником, напоили чаем и предложили отдохнуть. Под грецким орехом настелили одеял, на которых я и растянулся с превеликим наслаждением. Солнце еще не скрылось, но жара спала, а под сенью ореха было и вовсе славно.

Вынужденный кейф сопровождался ленивыми размышлениями о задуманной операции под шутливым кодовым названием «Одуди». Так называется ледник в западной оконечности Язгулемского хребта. Ледник разлегся в верховьях трех рек, стекающих в разные стороны. На юг течет Вамардара. Она впадает в Пяндж у Рушана, хорошо видного мне сейчас на том берегу. Когда-то Рушан, ныне райцентр, назывался Кала-и-Вамар. «Кала» значит «крепость». Их тут даже две. Развалины одной до сих пор видны на выступе скалы. Другая, более поздняя, стоит в долине. Крепости когда-то напрочь запирали долину и считались грозными. Сейчас их можно даже не заметить. На западе в Пяндж, делающий здесь характерную петлю вокруг оконечности Язгулемского хребта, с ледника стекает река Шипад. В устье Шипада стоит одноименный кишлак, мирный, без всяких крепостей. На север с Одуди течет Матраундара (или Матравн). Она впадает в Язгулем. Там тоже кишлак, конечно же называющийся Матраун: здесь почти все приустьевые кишлаки названы так же, как реки.



Но нас интересовали не крепости и не названия рек. Интересна была сама топография этого горного участка. Оконечность хребта обрывается к рекам в три стороны. Это значит — три макроэкспозиции, три ориентировки главных склонов. Каждый такой склон получает разную долю осадков, по-разному прогревается солнцем. Разная и крутизна склонов: северные положе, западные и южные — круче. Все это сулило немалые геоботанические выгоды. Ведь на таких разных склонах и растительность должна быть разной, и высотные пределы растительных поясов. Но это не все. Репутация западной оконечности Язгулемского хребта как очень интересного участка поддерживалась несколькими интересными флористическими находками. В 1928 году Л. Ланина, ботаник советско-германской Памирской экспедиции, работавшей под руководством академика Н. П. Горбунова, нашла в ущелье Вамардары новое реликтовое растение, названное в честь начальника экспедиции баданом

Горбунова. Цветущие экземпляры этого редкого растения мы нашли в 1954 году. В том же году, уже на северных склонах, возле Матраундары, я нашел тоже редкое растение и тоже реликтовое — проломник моховидный. Выяснилось, что такой же проломник за пятьдесят два года до нас по Матраундаре нашел ботаник Ф. Н. Алексеенко.

В западной оконечности этого же хребта за год до описываемых событий я нашел еще одну интересную травку из осоковых — схеноксифиум. Травка тоже оказалась реликтовой, к тому же имеющей близких родственников за границей — в Гималаях. Там же, поблизости, в одном из ущелий росли кусты миндаля бухарского. Это, правда, не реликт, но растение для Западного Памира редкое. Нигде южнее этот миндаль в гербарий не собирали. Получалось, что найденные кусты миндаля росли близко к южному краю своего ареала (ареалом называют область распространения). Это тоже привлекало внимание. А возле устья Язгулема обнаружили несколько экземпляров разнолистного тополя, родственного, с одной стороны, знаменитому евфратскому тополю, живущему в Передней Азии, а с другой — центральноазиатской туранге, растущей в Кашгарии. И нигде южнее этот тополь тоже не встречался. Значит, граница еще одного ареала проходит тут же.

Дальше больше. Перед самым началом этого сезона выяснилось, что найденный нами на Вамардаре папоротник криптограмма Стеллера тоже большая редкость и тоже встречается в Гималаях...

Получалось, что западная оконечность Язгулемского хребта, судя только по находкам «в низах», была битком набита всяческими редкостями — реликтами, гималайцами, эндемиками, на худой конец растениями, мужественно удерживающими границы своего ареала.

Все это неспроста. Сгущение точек всякого рода интересных находок именно на этом горном участке не могло быть случайным. Надо было выяснить, в чем тут дело. И потом, если уж в нижних поясах найдено так много интересного, стоило «пошарить» и вверху. Это была одна цель. Другая состояла в том, чтобы единым заходом взять профили сразу на трех склонах, спадающих к рекам на север, запад и юг. По замыслу мы с Михаилом Леонидовичем Запрягаевым должны были подняться вместе на ледник Одуди с юга, по Вамардаре, пройти ледник до верховьев Шипада, потом к верховьям Матраундары,

потом Михаил по проторенному пути должен был вернуться по леднику к верховьям Шипада, спуститься по этому ущелью к Пянджу и ждать меня в кишлаке, а на мою долю приходился спуск по Матраундаре. Таким сложным ходом убивались сразу три зайца (то бишь брались сразу три профиля — описывалась растительность по всем трем склонам снизу вверх и сверху вниз) и соблюдались правила безопасности: по неизведанным, опасным участкам ледника мы шли не в одиночку, а вместе. Спуск же ниже ледника для каждого из нас, как предполагалось, опасности не представлял.

Таков был план операции «Оудуи». Отличный план! И вот он стал рушиться буквально на глазах. Я остался один. Следовательно, ни безопасности передвижения по леднику, ни третьего профиля по Шипаду я обеспечить уже не мог. Я не мог даже перебраться через Бартанг. Разумнее было отложить всю затею до лучших времен, но... я уже был «запрограммирован» и ждать не хотел.

...Очнулся я от холода. Солнце зашло, а я так и задремал поверх одеял. Увидев, что я проснулся, хозяева снова стали угощать меня. За чаем из разговора я узнал, что машин у парома скопилось видимо-невидимо, что паромщики сами живут на том берегу и что ночью, если вода хоть немного спадет, они наверняка попытаются переправиться к себе домой без машин, потихоньку, пока все спят. Это была очень интересная информация. Я решил ночевать не в Ахзеве, а у парома, лучше даже на самом пароме, чтобы не прозевать тайный его отход. Меня отговаривали, но я уже опять «запрограммировался».

У парома было немыслимое столпотворение. Люди жгли костры из сухой травы и полыни, накачивали паяльные лампы, ели, пили чай, укладывались спать кто как мог. Где то раздавалась не очень трезвая песня, где-то хохотали, храпели... Паромщики по-прежнему жевали. Сходни были сняты. Пользуясь сумерками, я подкрался к тросу, крепившему паром к берегу. Закинул на трос одну ногу и, перебирая руками и этой ногой, стал передвигаться к парому. Рюкзак со страшной силой тянул вниз, к воде. Когда я оказался на полпути к цели, отступать уже не стоило. На носу парома я долго оттирал занемевшие ладони. Потом прокрался на корму, пристроился подальше от борта и уснул.

Проснулся от толчка. Открыв глаза, понял: пустой паром причалил к правому берегу Бартанга. Было темно, по по деревянному



стуку я догадался, что сбрасывают сходни. Через минуту, проскочив мимо удивленного паромщика, явно не заметившего меня раньше, я уже был на нужном мне берегу. Выбрав не очень каменистое место под орехом, я с трудом втиснулся в старенький спальный мешок. Перед тем как продолжить прерванный сон, поглядел на часы. Было три часа ночи. Стало быть, уже вторник. Тринадцатое число кончилось.

## *ОТ ОРЕХА К СНЕЖНОМУ ЧЕЛОВЕКУ*

Летние ночи в горах, каким бы жарким ни был день, всегда прохладны. Так было и на этот раз. Под утро в старом мешке я изрядно прозяб. Из-за этого стал ворочаться. Нарушилось какое-то взаимоприспособление между ребрами и камнями, на которых я уснул. В сотне метров от меня нарастал шум начавшейся паромной переправы. Обстановка явно не располагала к сладкому утреннему потягиванию. Сделав еще одну безнадежную попытку уснуть, я выбрался из мешка и сложил пожитки. Сполоснул в холоднущей воде лицо и принялся грызть сухарь, поеживаясь от холода. Какой-то милый старик, увидев это скудное мое одиночество, позвал меня в кибитку пить чай. Такое отношение к любому путнику здесь в обычае. Идти в душное помещение не хотелось, и я честно в этом признался. Тогда старик принес мне под орех шир-чай. Это традиционная утренняя еда на Западном Памире. Именно еда, а не питье. Черный чай заваривается кипящим молоком, туда же кладут соль и топленое масло. Когда привыкнешь к такому «коктейлю», то лучше шир-чая с лепешкой, кажется, и быть ничего не может. Позавтракав, я согрелся и стал внимательнее посматривать вокруг. Переправа машин представляла собой довольно однообразное зрелище, и я переключился на окрестности.

Воды в реке стало заметно меньше: с заходом солнца ледники перестали таять. Бартанг, казалось, вытекал прямо из скальной стены. Рушанский и Язгулемский хребты так близко прижались друг к другу, что лишь при внимательном рассмотрении можно было отсюда увидеть щель в скальных отвесах. Вырвавшись из щели, Бартанг на последнем десятке километров широко расплескивал свои протоки и

сбрасывал с себя лишний груз галечника и песка, который он вынужден был нести в узком ущелье. Песок и галька здесь выросли в острова. Сегодня они есть, завтра их размочит, и они вырастут в другом месте. Острова, добившиеся какой-то стабильности, зарастали ивняками и облепихой. Сейчас, в половодье, они были «по грудь» затоплены и мужественно противостояли бешеному напору воды. Возле этих зарослей течение замедлялось, отложение гальки и песка усиливалось. Острова росли из года в год до тех пор, пока какое-нибудь из ряда вон выходящее половодье не смывало их начисто. И все начиналось заново.

...Кишлак Шуджанд, в котором я находился, довольно типичен для Западного Памира. В знойных равнинах Средней Азии кишлаки другие. Там кибитки находятся за глинобитными дувалами, между которыми протискиваются улочки, настолько узкие, что в них два человека еле расходятся. Зато в этих улочках всегда тень, такая желанная. Здесь все иначе. В горах не бывает такой изнуряющей жары, нет и нужды в тесных тенистых улицах. Кибитки в памирских кишлаках далеко отстоят друг от друга, затененные зеленью садов, посадками тополей, группами тутовника или грецкого ореха.

На каменистом конусе, отложенном боковым притоком Бартанга и им же политом, были разбросаны тут и там на большом расстоянии друг от друга деревья грецкого ореха. Что-то вроде очень разреженного парка. Десятки миллионов лет назад эта порода была широко распространена по клочкам суши в Средней Азии, Казахстане, Европе. Тогда было тепло и влажно. Сейчас, когда выросшие хребты отгородили равнины Средней Азии от влажных океанических ветров, стало сухо. Орех стал вымирать. Часть выживших деревьев поселилась в низкогорьях, куда горные реки выносят воду. Другая часть нашла прибежище в горах, главным образом во влажных, где осадков побольше. А некоторые, как вот те, что сейчас передо мной, ухитрились, перемещаясь из поколения в поколение вдоль горных рек, забраться в сухие горы. На Памире они добрались до 2400 метров высоты. Их мало, всего двадцать пять тысяч деревьев на весь Памир. Тут они только возле воды и живут. Давно живут. И долго — лет по триста — четыреста. То дерево, под которым я ночевал, очень старое: ствол треснул, часть ветвей засохла. Но крона еще густая, метров до сорока в диаметре. Такое еще поживет.

Рядом с собой вижу молодой ореховый росток. Дальше — другой. Под кроной, оказывается, разместилось целое семейство проросших орехов. Некоторые ростки до метра, остальные меньше, единичные чуть больше. Ростки какие-то хлипкие. Трудно им выжить под такой густой кроной: света не хватает. Пока эта треснувшая махина не рухнет, не засохнет, молодняку хода нет. Так и будут они дышать на ладан под мрачной сенью старшего.

Я посмотрел на развесистый орех повнимательнее. Трещина в стволе свидетельствует о подорванных силах. Когда-нибудь уже ни один лист не вырастет на его ветвях. Станет светло. Сильнейший из подростка вырвется к солнцу, развернет крону и... станет губить отставших. Такое поведение ореха целесообразно: если вырастут под кроной все проросшие орехи, они задушат друг друга, поскольку для каждого дерева нужна строго определенная площадь. Все на ней жить не могут. Выживает сильнейший.

...К девяти я уже был в Рушане. Раньше приезжать сюда не стоило: магазины открываются только в девять. Догрузив и без того тяжелый рюкзак консервами, куревом и чаем, двинулся вверх по Вамардаре. Тропа, поначалу хорошо видимая, вывела на бровку выбитого в скале арыка. Вода из него выливалась на поля в пятнадцати километрах отсюда. Место знакомое. Когда-то мы с Рурским решили пройти этот арык от головы до конца. Ползли почти целый день. Часть арыка шла по отвесным скалам. В них взрывами по всей длине арыка была выбита ниша. Край ниши заложили камнями, облепили дерном. Получилась бровка, сразу за которой местами шел гладкий отвес в пропасть метров на двести. Над бровкой нависал козырек скалы. Под таким козырьком можно было только ползти на четвереньках по узкой бровке. Если сесть на нее верхом, одна нога окажется в воде арыка, а другая повиснет над пропастью. Чего стоило построить такое ирригационное сооружение — подумать страшно...

На этот раз на арыке мне делать было нечего. Я пошел вверх. Выше головы арыка тропа стала еле приметной. Она терялась в камнях и снова появлялась на мелкозем. Вместе с тропой вокруг появлялись свечки желтых узколистных эремурусов. Это влаголюбивый вид. На сухом Памире эремурусов мало, не то что в горах Дарваза и Гиссара. Там влажно. А здесь эремурусы растут только в местах, где зимой скапливается много снега. Это подтверждает здоровенный снежный

мост, остаток былой лавины. Мост виднеется далеко внизу. Шум Вамардары сюда еле доносится.

Тропа забирает вверх все круче. Дышать тяжело. Сочетая приятное с полезным, я часто отдыхаю и одновременно делаю описания растительности, собираю гербарий. Потом снова иду. Особенно задерживаться нет смысла: после полудня в узкое ущелье ударит жаркое солнце и будет тяжелее идти. Надо успеть к этому времени забраться повыше, где прохладнее.

Ущелье Вамардары тесное, темное. Вокруг зубчатые скалы, под ними каменистые склоны, пропиленные рекой. Растительности мало. Редкие участки с полынями, колючими растениями-подушками: акантолимоны, астрагалы, нуты, эспарцеты... Полынней все меньше, подушек все больше. Это я прохожу крутые каменистые участки так называемого денудационного яруса рельефа. Выше путь будет положе. Я не был там, но твердо это знаю. Дело в том, что все многообразие форм рельефа в памирских горах укладывается в правильную схему. Горы ступенчаты. Это потому, что поднимались они с разной скоростью. Когда подъем шел быстро, реки врезались в породу. Тогда формировались крутые откосы. Когда подъем страны замедлялся, крутые скалы начинали разрушаться быстрее, формировались пологие поверхности. Получалась гигантская ступенчатость. Откосы «ступенек» называются денудационными ярусами. Там все осыпается. Там трудно удержаться почвам, растениям. Там нет солончаков, лугов, степей, лесов. Там только колючие подушки, цепляющиеся за грунт. Пологие поверхности «ступенек» называются аккумулятивными ярусами. Там скапливается все то, что обрушилось и было снесено с вышележащего крутого яруса. Там образуются почвы, иногда засоленные. На них бывают луга, степи, пустыни...

Вскоре тропа пошла по более пологим склонам. Она стала двоиться, четвериться, расплескалась на десятки мелких троп. Они хорошо были видны на фоне дернины. Это скотобойные троны. Колючие подушки, не выносящие тяжелых почв, исчезли. Начались степи. Не серебристые, ковыльные, с обликом которых мы связываем обычно степь, а фиолетовые, регнериевье, удивительно красивые. Вороненые пониклые колосья регнерии Жакемона придавали склонам фантастический, какой-то неземной вид. Делаю описание. Второе. Еще одно... Солнце уже клонится к западу, а я все не могу оторваться.

Очень уж интересно. Можно считать, что это первый успех: нигде южнее таких хорошо выраженных регнериевых степей нет.

Да и степи ли это? Дернинки, правда, как и положено настоящим степям, есть. Но листья регнерий не свернутые, как у обычных степных злаков, а шелковистые, чуть опушенные. Эта регнерия куда влаголюбивее многих степных растений — типчака, ко-вылей, тонконога. Что-то вроде сухого луга получается. Как отличить сухой луг от влажного варианта степи, никто не знает. Во избежание лишних споров такие сообщества стали называть луго-степями. Вроде и степи, и луга одновременно. Никто не придерется. В среднеазиатской геоботанике вообще пока много таких компромиссов. Луго-степей, не только регнериевых, много: и в Алайской долине, и в Тянь-Шане, и в Кашгарии — всюду, где для лугов сухо, для ковылей влажно, а для лесов холодно. Происхождение луго-степей не совсем ясное. Одни считают, что они образовались из настоящих степей, другие убеждены, что из лугов. Вот эти, из регнерии Жакемона, похоже, произошли из луговых травостоев. У этого злака много луговых родственников, даже внешне на него похожих. А впрочем, не буду настаивать.

Размышлениям помешал хриплый лай. Здоровенный пес мчался вниз по склону прямо на меня. Это был великолепный экземпляр памирского овчара, с обрубленным хвостом, обрезанными ушами, огромной головой и соответствующей пастью. Любоваться этим красавцем было уже некогда. Подхватив ледоруб, я встал в оборонительную позицию. Драться с псом мне очень не хотелось. Пес, видимо, уловил неуверенность моих движений. Подлетев ко мне, он стал буквально заходиться от яростного лая. Я выставил вперед штык ледоруба и несколько напряженно стал ждать развития событий. Кинуться на штык пес не решился. Его обходные маневры успеха не имели: штык был наготове. Сколько времени мы так крутились, сказать трудно. Уловив в лае пса некоторую утомленность, я решил вступить в переговоры. Когда я заговорил, пес стал лаять потише. Он явно прислушивался. Я продолжал разговор в увещательном тоне. Лай перешел в глухое взгавкивание. Тогда я вынул из кармана сухарь и кинул псу. Сначала он рыкнул и отскочил в сторону, но тут же разобрался что к чему и стал грызть сухарь. Поглядывал он на меня, казалось, уже не так свирепо. Но когда я опустил ледоруб и хотел идти дальше, пес недвусмысленно зарычал. Это уже было вымогательство,

шантаж. Отчаянно ругаясь про себя, я кинул ему еще сухарь и тут же двинулся по тропе. Подхватив сухарь, пес стал грызть его на ходу и потрусил за мной. Покончив с этим сухарем, он уже вел себя миролюбиво. Стража была подкуплена.

Памирские овчары — интересные звери. Вероятно, они представляют собой результат длительной местной селекции при чудовищно строгом отборе. Псы эти очень крупные. Мне встречались экземпляры с головой, значительно превышавшей по размерам мою, и с лапами шире моего кулака. Уши и хвосты у них режут специально. Оперированный таким образом пес получает бесспорные преимущества в драках с волками: тем ухватить пса труднее.

Когда начало темнеть, я при почетном эскорте вышел к айлоку, пастушьему стойбищу. Несколько каменных загоронок для овец, той же кладки пара кибиток, сепаратор, фляги для молока — вот и весь пейзаж. Из кибитки, громко окликавая меня по имени, выскочил парень в ватнике и побежал навстречу. Я взгляделся. Это был Рамазан, старый знакомый, зоотехник. Когда-то мы с ним встречались на Бартанге и содержательно провели сутки, висая на скалах одного ущелья, передвигаясь по сотне метров в час и ночуя привязанными к ледорубам. Такие сутки сближают. Вот уж не ожидал встретить его здесь. Удача!

На юге темнеет быстро. Через полчаса мы уже сидели при свете коптилки в тесной кибитке и ужинали. За день я проголодался и вел себя не совсем прилично, откровенно радуясь обильной еде. Потом пили чай. Потом долгая беседа.

Рамазан — интересный парень. Говорят, он хороший зоотехник. Он, несомненно, умен. И с юмором. И любознателен чрезвычайно. Меня он представил окружающим как знатока трав. Это была очень приблизительная, но наиболее доходчивая оценка моего научного профиля. Чабаны оживились. Несмотря на темноту, стали выходить и приносить в кибитку разные растения. Осрамиться было нетрудно: они не знали латыни, я же знал далеко не все местные названия. Пришлось давать характеристики «с позиции скота»:

— Это плохая трава. Если корова съест ее, молоко будет плохо пахнуть. А это очень хорошая. А эту надо обходить, а то баран, съев ее, заболеет. И корова тоже заболеет. А эту корова есть не станет, а баран ест. А эту никто есть не станет, даже ишак...

Через полчаса хозяева сочли, что экзамен выдержан. Рамазан был горд. Разговор перешел на общие темы. Собеседники закидывали под язык «насвор». Это табак, перетертый с золой хвойника, известью и маслом. Предложили и мне:

— Зачем куришь? Бери насвор. Он лучше.

— Привык к сигаретам.

— В магазине плохой товар, долго лежит, сигареты тоже.

— Это верно, плесневелые они...

Претензии к состоянию торговли завершились притчей.

— Вот ты не знаешь, наверное, а ведь черепаха — это раньше человек был. Торговец. Обвешивал покупателей, аллах рассердился и зажал его между чашками весов. Так ему и надо.

— Это он правду сказал, — поддержал другой, — Так старики рассказывали. Медведь тоже был человек. Жадный был. Гостей не любил. Вот его аллах и выгнал от людей. От дикости он и оброс шерстью.

Рассказы становились все интереснее. Я спросил про снежного человека, о котором тогда было много разговоров. Вопрос вызвал оживление. Оказывается, все были прекрасно осведомлены об этом загадочном существе. Это «алмасты». Она женщина. Мужчину зовут «войт». Алмасты покрыта волосами. Груды волочатся по земле. Когда крадет детей, сажает их за спину и туда же закидывает грудь, чтобы кормились. Живет в горах. Вниз не спускается. Стра-а-ашная. И войт страшный...

— А кто-нибудь видел сам войта или алмасты?

Оказалось, никто сам не видел, но у каждого был кто-то из родных или знакомых, вполне заслуживающих доверия людей, которые видели.

— Вот мой отец, — начал один из чабанов. — Он охотник был. Пошел в горы нахчиров бить (нахчир — это горный козел). Заночевал на айлоке, в кибитке, такой, как эта. Сварил авкот (еду), поел. Хотел спать лечь. Глянул вверх, а оттуда алмасты смотрит. — Рассказчик указал на дымовое отверстие в потолке.

Слушатели сидели, поеживаясь и затаив дыхание. Рассказчик продолжал:

— Алмасты спустила ноги вниз и достала ими до полу. Отец выстрелил, алмасты закричала, выбежала наружу и в корчах умерла.

Когда на следующий день отец с народом вернулся на айлок, тело алмасты растащили волки. Ничего не осталось...

— И никто, кроме отца, так и не видел ее? — бестактно спросил я.

— Никто. Но мой отец никогда не врал...

Рамазан резюмировал:

— Все это до революции было, теперь нет этого.

За рассказами засиделись допоздна. Договорились, что утром Рамазан проводит меня до ледника. Спать я решил на воздухе. Снаружи была холодина: высота как-никак больше трех с половиной тысяч. Мне постелили кошму, накидали на меня одеял, и я крепко уснул под вздохи овечьей отары.

### *ОДУДИ — ДОРОГА ТОРНАЯ*

С утра приморозило. Мы с Рамазаном вышли чуть свет. Он нес рюкзак, убедив меня беречь силы на дальнейшее. По холодку мы шли довольно быстро, насколько вообще быстро можно подниматься по склону да еще на большой высоте. Когда я останавливался для работы, Рамазан терпеливо ждал. Тропа лезла вверх по круче, потом вывела нас на каменистую морену и исчезла. А ведь когда-то здесь проходил караванный путь. Дорога в обход Язгулемского хребта по Пянджу проходила тогда по оврингам и считалась опасной. Путь через Одуди физически был труднее, но короче и безопаснее. Это я вычитал в старых книгах. Чабаны вчера подтвердили это, но сказали, что караваны все равно проходили через Одуди редко, а если и проходили, то не из-за оврингов, а из страха: на пянджском пути в старые времена караваны грабили разбойники. А один чабан утверждал, что путь через Одуди был и дешевле, так как за проход по оврингам брали пошлину. Теперь, с постройкой автомобильной дороги, через Одуди только охотники ходят, да и то по двое или с чугурчуками. Чугурчук — это длинный, метра четыре, шест с заостренным концом, вроде копья. Шест прочный, из туркестанской рябины или иргая. На леднике его несут под мышкой. Если провалишься, чугурчук ляжет поперек трещины и не даст погибнуть. Вчера мне предлагали чугурчук, но я отказался: и без того груза много.



У первых снежников мы с Рамазаном распрощались. Он снял рюкзак, пожелал мне успеха и налегке быстро пошел вниз. На альтиметре было четыре тысячи метров. На часах десять утра. На душе было легко.

Ледник Оудуи занимает обширное пространство между черными сланцевыми скалами разветвленного здесь гребня Язгулемского хребта. Ледник выпуклый, и противоположного края его не видно. Сначала я пошел, держась поближе к скальной гряде. Наверное, скала представлялась мне надежной твердью, чем-то вроде островка безопасности среди чуждой ледяной стихии. Но потом от гряды пришлось отвернуть. Во-первых, она поворачивала куда-то на восток, мне же нужно было на север. А во-вторых, рядом была широкая щель. Такие трещины между ледником и бортом ледниковой долины называются рандклюдфтами. Этот рандклюдфт имел в глубину метров пятнадцать. Край ледника нависал над щелью тонким карнизом, и хотелось убраться от этого края подальше.

В полукилометре к северу от рандклюдфта из ледника торчала скала. Такие скальные острова среди ледников называют нунатаками. Этот нунатак торчал, как шпиль, проткнувший ледниковую толщу. К нему-то я и направился. Не очень он мне был нужен, этот нунатак, но все же это был хоть какой-то объект на безликой поверхности ледника. Шел очень осторожно. Перед каждым шагом втыкал штык ледоруба в снег. Он был зернистый, плотный. При ударе брызгали осколки льда. Все шло хорошо. До нунатака добрался вполне благополучно. Приятно было встать на надежный выступ сланцевой скалы. Внутренняя напряженность исчезла.

Стал осматриваться. Скала оказалась обитаемой. В расщелине сидела бледно-фиолетовая эрмания. Она из семейства крестоцветных. Ничего удивительного: высокогорья Памира вообще представляют собой царство крестоцветных. Чем выше, тем их больше и численно, и по видовому составу: крупки, эрмании, хориссоры, четочникп, паррии, резухи, желтушники... десятки видов и родов. А здесь одна эрмания. В единственном числе. Прижалась к черной стенке скалы, укрылась за острым выступом от ветра и живет. Холодно тут. Высота 4200 метров. Ветер. Неуютное местечко... Неподалеку, тоже в расщелине, расположился мелколепестник Ольги. Этот из сложноцветных. Невзрачное растение тряслось на ветру, как в лихорадке. По соседству

поселился джунгарский мятлик. Выглядит он не лучшим образом: весь какой-то обтрепанный, будто пропущенный через молотилку. Это ветер его так обработал.

Обхожу скалу. С наветренной стороны поселилась жимолость Ольги. На Памире вообще много растений носит это имя: вновь описанные виды «крестили» так в честь выдающегося ботаника Ольги Александровны Федченко. Кустик жимолости на скале маленький, сантиметров тридцать. Ветер здесь часто несет жесткий леденистый снег. Им, как наждаком, свезена с кустика кора. Листочки потемнели от холода. Но растение вызывает не жалость, а восхищение. Как мужественный солдат, оно стоит насмерть, не сдается.

Пользуясь твердью под ногами, сажусь перекусить. Хлеб, консервы, холодный чай из фляжки. Белое поле ледника, синее небо, яркое солнце и разреженный воздух способствуют вялым размышлениям. Постепенно что-то вводит мысли в русло. Что? Да эти же скальные обитатели: эрмания, мятлик, мелколепестник... крестоцветное, злаковое, сложноцветное. Стоп! Ведь это же перечень ведущих семейств во флоре Памира! Эти три семейства да еще бобовые и маревые входят здесь в первую пятерку семейств, отличающихся особенно большим видовым разнообразием. И именно представители этих семейств оказались самыми выносливыми, раз выжили на этой вот скале. Здорово! Случайность? Правда, тут еще жимолость. Она явно выпадает из этого ряда господствующих семейств. Но ведь три-то вида из четырех в ряду. Значит ли это что-нибудь?

Я быстро завершаю трапезу и пускаюсь в путь. Сначала робко, проверяя перед собой крепость льда ледорубом. Потом смелее. А потом и вовсе зашагал по леднику, как по тротуару. Шел и размышлял, пытаюсь хоть как-то упорядочить первое впечатление от сопоставления семейств...

...Провалился я не весь: руки с ледорубом, голова и рюкзак остались на поверхности. Ноги провисли. Я замер. Казалось, если шелохнешься, то... Повел глазами. Метрах в тридцати от меня на снегу сидела альпийская галка и как-то боком поглядывала в мою сторону. Наверное, ждала, когда я окончательно загремлю.

Первая оформившаяся мысль была вполне здоровой: «Надо что-то делать, не торчать же так вечно». Покачал ногами. Они висели

свободно, не доставая до упора ни с одной стороны. Посмотрел налево — ничего интересного. Глянул направо и... расхотел что бы то ни было предпринимать. Оказывается, я висел на снежной кровле, замаскировавшей трещину. Держался я на огромном своем рюкзаке да на вытянутых вперед руках. Если бы не рюкзак, я ушел бы на дно трещины, пробив снежную толщу, как гвоздь. Справа от меня снег обрушился, и все великолепие ожидавшей меня перспективы хорошо просматривалось. Трещина была глубоченная. Она светилась холодными зеленоватыми сумерками. Были видны торчащие остриями вверх ледяные сосульки-сталагмиты. Они сидели на выступе стенки. Дно скрывалось во мраке. Что лучше: изобразить из себя шашлык, насаженный на ледяной шампур, или же пролететь мимо в черную бездну, чтобы замерзнуть там с переломанными костями? Ничего себе альтернатива. В голову пришла глупая мысль: «Если провалюсь, то не найдут и могут подумать, что я ушел через границу». Это показалось обидным. Вот был бы Михаил со мной... Потом разозлился на себя: «Лодырь! Поленился нести чугурчук!» Злость прибавила решительности.

Теперь все зависело от прочности кровли. Описать все последующее трудно. Я воткнул перед собой клюв ледоруба и стал подтягиваться. Наверное, никогда ни до, ни после мои движения не были такими пластичными — это было что-то среднее между пресмыканием и классическим балетом. Когда я принял почти горизонтальное положение, рюкзак-спаситель навалился сверху, грозя обрушить снежную перегородку, отделявшую солнце от ледяного мрака. Кровля выдержала. Слева в трещину обрушился ее кусок, зазвенел в глубине. Но я уже лежал рядом с провалом. На животе. Надо было сбросить рюкзак и ползти уже без него. Это повысило бы шансы на успех. Но я боялся делать резкие движения и пополз завьюченным. Когда отполз метров десять, понял, что спасен. Но сесть, а тем более встать не решался, Лежа вытащил из кармана сигареты и закурил. Галка сидела на том же месте и по-прежнему глядела на меня. Я понял, что прошло очень мало времени. Курил я минут десять. Только сейчас стало по-настоящему страшно. И холодно. Я был весь взмокший...

Напуганный случившимся, дальше я шел по леднику черепашими темпами. Каждый шаг многократно проверялся штыком ледоруба. В

местах, казавшихся ненадежными, полз. (Пусть бросит в меня камень тот, кто храбрее.) Три километра я шел по леднику несколько часов. Когда добрался до сланцевой гряды, уходившей за пределы ледника, солнце уже катилось к западу, а я был вымотан до крайности. Навалилась апатия. Я тупо-механически переставлял ноги по сланцевой осыпи. Когда внизу показался поселок, я отнес это зрелище за счет расстроенного своего воображения. Никакого поселка здесь, у края ледника, быть не должно. Не было его и на карте. Но когда я спустился ниже, услышал лай собак и стук дизеля, когда увидел людей, то понял, что поселок не представляет собой комплекса моих утомленных ощущений, а существует вполне реально.

Это был поселок горняков. Меня привели к начальнику партии. Он удивился:

— Ты откуда такой?

— Сверху. Из Рушана иду.

— Один?

— Один.

— Ну и псих. А документы у тебя есть?

Я предъявил ему документы и попросил иголку с ниткой. После некоторой беготни игла с ниткой была доставлена из ближайшего барака. Все это время я сидел. Дело в том, что, когда я ухнул в трещину, от штормовых штанов сзади оторвались пуговицы, державшие стандартные подтяжки. На ремне штаны держались плохо. Наверное, за последние часы я отощал, поскольку из тяжелых брезентовых штанов стал просто вываливаться. На людях захотелось привести себя в порядок. Когда подтяжки были намертво пришиты, прорезался голод. Меня накормили, предварительно сунув в руку полкружки спирта. Пока я тут же, в кабинете начальника, расправлялся с бараньим боком, сам начальник, которого все звали просто Володей, занимался делами. Бригадиры, рабочие, маркшейдеры, буровые мастера, подрывники, радист, дизелисты — весь этот люд вливался прибоем в «кабинет», отгороженный тесовой перегородкой от общей столовой, и в том же темпе выливался наружу, получив оперативное разрешение вопросов, назревших на завтрашний трудовой день. Володя был великолепен. Смотреть, как он управляет с делами, было сущим удовольствием. Наконец поток посетителей иссяк. Начальник глянул на меня и торопливо предложил мне спать

тут же в кабинете на раскладушке. От спирта, еды и усталости я осовел и еле удерживался в сидячей позиции. Повторного приглашения я ждать не стал. Снов ночью не видел.

## **СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ**

Морозное утро было ослепительным. Еще вчера я узнал, что поселок построен здесь, на высоте 3900 метров, только весной. Сюда же пробита автомобильная дорога вдоль Матраундары. В поселке расположен верхний лагерь. Ниже есть еще два. Вот это размах!

Мне предложили дожидаться, когда снизу придет машина, чтобы ехать обратным рейсом. Но мне это не подходило. Геоботаник — человек пешего труда: нужно было прокладывать профиль. Двое горных инженеров, у которых были дела в нижнем лагере, взялись проводить меня. Один — москвич Анатолий Комиссаров, другой — молодой душанбинец Слава Михайленко. Эти отличные ребята рассказали мне много интересного о своей работе, живо интересовались растениями, даже показывали засушенные в пикетажах цветы. Я же делал частые остановки для описания сообществ.

От лагеря шли вниз луга. Хохлатковые, луковые, гераневые, горцовые... Травы сплошь задерновали мягкие склоны пригребневой пологой поверхности. Ничего подобного по ту сторону перевала на тех же высотах не было. Вообще луга для горных склонов Памира не типичны. Матраундара — явное исключение. Когда склоны стали круче, луга чуть изредились, но продолжали господствовать в ландшафте. На противоположном склоне долины были видны можжевельниковые редколесья. Внизу, на широкой террасе Матраундары, эти арчевники сливались в добрую рощу и смешивались с березняками. Прямо вроде и не Памир, а Дарвазский хребет или Кухистан с их лесами и лугами! С чего бы это? Материал для размышлений накапливался. Сами размышления я отложил на потом: сейчас некогда, надо собирать материал.

К полудню мы спустились на зеленую широкую террасу, которую видели сверху. Это урочище называется Хугаз. Много красивых мест видел я на Памире, но это — одно из немногих, запоминающихся на

всю жизнь. Зеленая пойма, покрытая лужайками, арчевниками и березняками, представляет собой как бы дно глубокой чаши, окаймленное осыпями и уходящими в небо скалами. Глубина этой чаши так значительна, что даже в полдень черные тени тут и там прячутся в скальных ущельях. По дну долины вьется русло сравнительно спокойной реки. Она скрывается за мощным крупноглыбовым завалом, чуть было не запрудившим когда-то Матраундару. Все эти элементы пейзажа довольно обычны для Памира. Здесь же очарование создавалось резким контрастом между голыми скалами и брызжущей зеленью поймой. Изумительное по красоте место.

На поляне был разбит лагерь: десятка два больших шатровых палаток, тесовый склад, навес. Кругом были уложены крепезный лес, буры, бухты троса. Тарахтел дизель. На противоположном берегу у штолен возились люди. Под штольнями белели отвалы. Вполне индустриальный пейзаж, прекрасно гармонировавший с пейзажем природным.

На палатке, к которой мы подошли, я увидел два флажка. Один союзный, а другой оказался флагом Грузинской ССР. Из палатки вышел обросший густой черной бородой человек. Рост у него был средний, широченные плечи и грудь делали его почти квадратным. Очень сильные волосатые руки довершали образ. Мои спутники громко приветствовали его:

— Привет, Леван!

— Здравствуйте, малчики, — сказал он с сильным грузинским акцентом.

— Принимай гостя.

— Здравствуй, дорогой. Заходи. Вчера получил посылку. Цинандали есть. Мясо с черемшой есть. Заходи. Малчики, сначала цинандали, дела потом...

Через полчаса, закончив дела и дегустацию цинандали, Анатолий и Слава ушли. Я остался на лагере у Левана. От сегодняшнего маршрута он меня отговорил, мотивируя это тем, что хорошее дело надо начинать с утра. Мы сидели под навесом и разговаривали. В какой-то момент Леван посмотрел на часы, извинился и оглушительно свистнул. На той стороне грянул взрыв. Он свистнул еще. Ахнул второй взрыв. Леван заливисто засвистел, взрывы прекратились, а он,

обернувшись ко мне, продолжил разговор. Часа через полтора Леван снова засвистел. Сказал мне, что будет производственное собрание на пять минут. В «пять минут» я не поверил, конечно. Но собрание прошло еще быстрее. Леван влез на ящик перед полусотней рабочих и объявил собрание открытым. С ходу начал выступление:

— Сколько раз говорил — не лезь в забой без каскетки. Упадет камень на дурную башку, кто будет отвечать? Я! — Он ударил себя здоровенным кулачищем в грудь. — Если увижу кого в забое без каскетки, поговорю отдельно! Собрание закрыто. Расходись!

Вернулся под навес и продолжил беседу. И так много раз. Казалось, он целиком поглощен разговором с гостем. Но в любую минуту он знал, что делается в его хозяйстве, и время от времени отрывался от разговора, чтобы вмешаться в ход событий.

Вечером Леван пел грузинские песни, совершенно мне непонятные, но красивые.

У Левана на лагере я прожил три дня. С утра дотемна я ходил по ущельям, лазал на склоны, на скалы. Установил, что ниже Хугаза влаголюбивая растительность исчезала. Там, в узком ущелье, шли обычные для Западного Памира горные полынны пустыни. Искал то место, где в 1902 году Федор Алексеенко нашел проломник моховидный. Не нашел, хотя и имел на этот счет твердое указание гербарной этикетки, в которой рукой Алексеенко было написано, что проломник собран на мокрой скале по реке Матраундаре. Автомобильная дорога не совпадала с трассой старой тропы, и мои поиски были безуспешны. Эту скалу с проломником я нашел три года спустя. А тогда обнаружил еще несколько мест, где рос схеноксифиум. Нашел древовидную жимолость. Наткнулся еще на одно местообитание бухарского миндаля. Собрал в гербарий чилон — средиземноморский кустарник. Отметил гигантизм кустов барбариса. Сделал десятка три описаний. Гербарная папка распухла. Точки с интересными находками на карте сгустились. Сопоставил эти сгущения с местами, где располагалась влаголюбивая растительность, а все вместе — с направлением господствующих ветров, несущих скудные осадки. Получилось вот что.

Луга и арчевники располагались в точности на наветренных склонах или террасах, где зимой скапливалось много снега. Там, где снега было мало, распространились пустыни, степи и луго-степи. В

укрытых снегом местах сидели также кусты миндаля и древовидная жимолость. Схеноксифиум всюду рос только на мокрых скалах, по которым стекала родниковая вода. Судя по этикетке, написанной Алексеенко, в тех же условиях росли и подушки проломника моховидного. Короче говоря, все интересное было связано с более или менее увлажненными местами. Ничего бы этого не было, если бы Язгулемский хребет не выдвинулся так далеко на запад. Западный выступ хребта, придающий контуру советского Памира на карте характерные очертания, представлял собой, как выяснилось, уникальный экран, перехватывавший влагу с запада и северо-запада. Когда-то этот хребет был ниже. Пятнадцать тысяч лет назад он был ниже на сто — двести метров, миллион лет назад — на два километра. Ниже были и окружающие хребты. В те времена осадки беспрепятственно проникали не только на северный, но и на южный склон хребта. По мере тектонических поднятий южные склоны получали все меньше влаги, приходившей с северо-запада. Суше стало и в нижних поясах северного склона, так как горные барьеры, через которые влажный воздух проникал сюда, тоже выросли. Теперь осадки выпадали в заметных количествах только в верхних ярусах гор. И все же осадков здесь было больше, чем в южных районах Памира. Этому способствовал выдвинутый на запад выступ хребта. А влаголюбивые реликты, гималайцы и средиземноморцы, а также растущие на краю своего ареала кустарники — это свидетели былых, более влажных и теплых времен. Сейчас здесь влажных участков больше, чем на юге Памира, вот кустарников и сохранилось здесь тоже больше...

Конечно, нужно было еще многое проверять и додумывать, но эта модель представлялась вполне реальной. Как рабочая гипотеза она вполне объясняла сосредоточение интересных флористических находок именно здесь, в западной оконечности Язгулемского хребта. И два профиля, проложенные через хребет, оказались интересными. Что же касается тех трех видов с нунатака, относящихся именно к самым богатым семействам, то, по здравом размышлении, они оказались совсем не такими интересными, как казалось. Я давно заметил, что недостаток кислорода в высокогорьях притупляет мышление. Так и на этот раз. На скалу те виды попали случайно. Но поскольку в богатых семействах видов много, то вероятность случайных попаданий на



скалу возросла. Только и всего. Сработал закон больших чисел. К биогеографии этот закон имел лишь косвенное отношение.

Операцию «Одуди» можно было считать выполненной.

Через два дня я вернулся в ботанический сад, очень гордый тем, что в одиночку сделал так много. И только вечером, восстановив все события похода по порядку, я понял, что все это было сделано не совсем в одиночку. Даже совсем не в одиночку. На протяжении всего пути мне встречались хорошие люди — шоферы попутных машин, родители Давлятшо, угощавший меня шир-чаем старик, чабаны, Рамазан, начальник Володя, Комиссаров, Михайленко, Леван. Это они скрашивали мне путевую жизнь, облегчали мою работу. На единственном отрезке пути — на трех километрах ледника Одуди — я оказался действительно один. Это было против всех правил безопасности. Я нарушил их и чуть не погиб. Но в конце концов если уж учиться на ошибках, то их следует время от времени совершать.



# ЗАПОМНИВШИЙСЯ МАРШРУТ



## *ЗАМЫСЕЛ*

К концу августа 1959 года задание по картографированию растительности Язгулемского хребта было выполнено. Позади были три месяца пеших маршрутов по скалистым ущельям, подвижным осыпям, холодным ледникам. Мой маленький отряд, состоявший из двух студентов, двух рабочих и меня самого, к концу третьего месяца выглядел не самым лучшим образом. Лица обгорели на солнце, носы лохматились облезшей кожей, одежка пообтрепалась. К тому же за последние дни возле Рушана нас нещадно жрали москиты, и мы ходили с опухшими физиономиями. Несмотря на косметические потери, я решил было идти на перевыполнение плана. Надумал прихватить еще тысяч пять гектаров, благо состояние духа отряда было самое боевое.

Эти намерения полетели примерно через час после того, как были сформулированы и одобрены. Автомобильная дорога проходила метрах в двухстах от нашего лагеря. Водитель следовавшей из Хорога

машины, увидев палатки, стал громко спрашивать, не здесь ли я. Узнав, что я на месте, он подъехал к лагерю:

— Тебе телеграмма. На почте дали. Сказали, ты где-то здесь. Держи.

И уехал. Телеграмма была из Таджикского университета. Ректорат требовал возвращения студентов к началу учебного года. Категорически. Это была вторая телеграмма. Первую, видимо, завезли не в ту сторону. Спорить не приходилось: я работал в системе республиканской Академии наук, а студенты принадлежали, так сказать, другой епархии. К вечеру погрузневшие студенты уехали в Душанбе. Они выполняли в отряде обязанности лаборантов. Рабочие заменить их не могли: квалификация не та. Рассчитал и рабочих. Отряд распался.

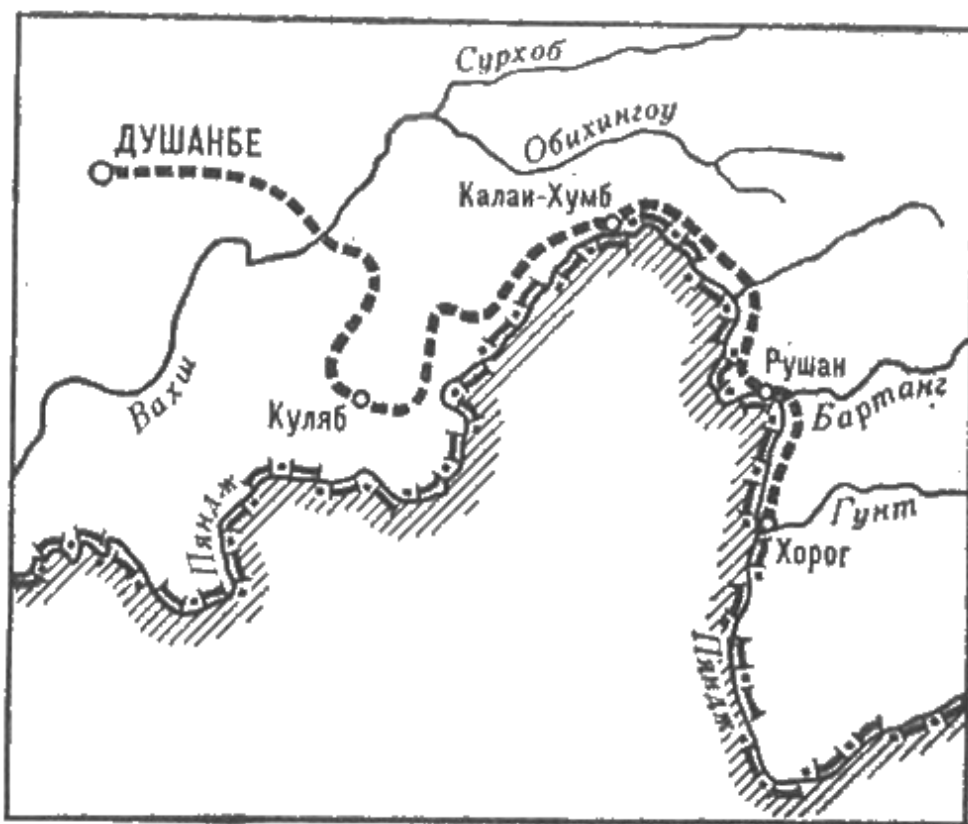
Через день я вернулся в Памирский ботанический сад, не потеряв еще маршрутной инерции. Впереди был целый сентябрь, но без отряда нечего было и думать заниматься картировкой. И я загрустил. Легкая грусть в отличие от тяжелой тоски бывает плодотворной. Так было и на этот раз. Праздные размышления натолкнули на мысль, а от нее уже было рукой подать до идеи.

Мысль была о способах передвижения и о связанной с ними психологии наблюдателя. Когда летишь в самолете, много видишь, но мало понимаешь, что к чему там, внизу. Когда едешь в машине, видишь меньше, чем из самолета, но понимаешь больше. Сидя в седле, успеваешь охватить взглядом еще меньше, но медленный темп передвижения помогает хорошо все разглядеть и осмыслить. Пеший способ передвижения в этом ряду сравнений представлялся наиболее интеллектуальным: идешь себе, глядишь и размышляешь...

Из этой мысли родилась идея: а что если воспользоваться сложившимися обстоятельствами и употребить оставшееся до конца полевого сезона время для того, чтобы от Хорога пройти до Душанбе пешком? Чем больше я обдумывал эту идею, тем больше она мне нравилась. Расстояние, правда, изрядное — около шестисот километров. Ездил я по этому пути машиной очень много раз. Отдельные отрезки пути проезжал верхом. Но одно дело — ехать, и совсем другое — идти пешком. То, что видел раньше мельком, можно будет разглядеть как следует и обдумать. А разглядывать и обдумывать было что. Дорога идет по Пянджу. Сначала она идет по Памиру, потом

по Дарвазу. Если ниже Калаи-Хумба отклониться от автомобильной трассы, можно выйти в Таджикскую депрессию, к Кулябу. А там уж и рукой подать до Гиссарской долины, в которой расположен Душанбе.

Задумано — сделано. Гурский идею одобрил и разрешение на поход дал. Поскольку предполагаемый путь более чем наполовину шел вдоль государственной границы, потребовалось и разрешение пограничников. Они отнеслись к замыслу с пониманием, предупредили обо мне заставы, мимо которых я должен был шагать, и пожелали доброго пути.



Поскольку все нужно было нести на себе, отбор поклажи в рюкзак был самым строгим: легкий спальный мешок, кусок пластика вместо ложа, альпинистский примус, кружка, игравшая одновременно роль котелка, ложка, мешочек с сахаром, горсть сухарей, чай, спички, курице, запас носков, свитер. В карманы штормовки положил документы, пикетажку и аккредитив. Вопрос с обувью был решен, на мой взгляд, оригинально. Тянуть на себе тяжеленные ботинки, которых хватило бы на весь путь, нецелесообразно. Да и жарко в них:

ведь я должен спускаться все ниже, в теплые пояса. И я решил идти в тренировочных тапочках на резине с тем, чтобы по мере сноса покупать в попутных магазинах другие. На всякий случай положил резервные кеды. Кладь получилась объемной, но не очень тяжелой. Весь расчет строился на попутных чайханах и столовых, поэтому продовольствия, которое всегда весит много, я не взял.

В семь утра я был уже в Хороге. Опустил в почтовый ящик письма и пошел к Пянджу по обсаженной тополями улице. Люблю я этот городок. В те времена в нем было всего восемь тысяч жителей. Сейчас — вдвое больше. Весь город нанизан на четырехкилометровую улицу, тянущуюся вдоль берега Гунта. С севера к городу ниспадают отвесы скал пика Пионеров. Так хорожане называли вершину, что над городом в Рушанском хребте. Между скалами и рекой втиснулся узкой лентой Хорог-городок. Вширь ему раздаться некуда. Раннее солнце высвечивает центральную улицу. Дежурные дворники выплескивают на асфальт воду из арыков, прибивают пыль. Мокрая пыль пахнет свежо и приятно. В Хороге почти все друг с другом знакомы. И у меня здесь много друзей. Но сейчас рано, и я покидаю Хорог, не встретив ни одного знакомого.

### ***ВНИЗ ПО ПЯНДЖУ***

По холодку шагается легко. Солнце из-за Рушанского хребта еще не вышло, и Пяндж был в тени. Через полчаса начались задержки, не предусмотренные планом похода. Водитель почти каждой попутной машины, завидев на дороге путника с рюкзаком, притормаживал, поднимая тучи пыли, и любезно предлагал подвезти. На Памире это в обычае. Чтобы не объяснять каждому, что я в принципе чужак и предпочитаю идти пешком, я отговаривался тем, что сейчас, ну буквально сию минуту, должен сворачивать в горы. За первый же час пути возле меня остановились три машины, к полудню я сбился со счета и весь был покрыт пылью, поднятой тормозящими машинами. Дело принимало нешуточный оборот. Пришлось пойти на хитрость. Завидев идущую сзади машину, я поворачивался к дороге спиной и начинал что-нибудь делать: или делал вид, что выкапываю растение, или вынимал лупу и внимательно в нее что-нибудь рассматривал, в

крайнем случае просто пристально смотрел в сторону от дороги. Помогло. Водители, полагая, что человек работает, не останавливались и лишь изредка сигналили в порядке приветствия. Этой хитрой тактики я придерживался в течение всего пути, к концу которого в симуляции деятельности достиг вершин истинного мастерства.

Я уже почти добрался до кишлака Поршнево, в котором собирался повидать друзей, как ноги стали вязнуть в песке. Шагать стало труднее. На песке почти ничего не росло, кроме нескольких экземпляров колючего мордовника и распростертого прутняка. Пойма, террасы и часть склонов были перекрыты сыпучими песками. Это Пяндж доставлял их сюда. Каждое лето уровень воды резко поднимается, и, чем жарче погода, тем выше. Такой режим типичен для рек Памира, питающихся талой водой ледников. Летом пянжская вода бурная и несет массу взвесей. Если зачерпнуть ее кружкой, то через минуту на дне осядет щепотка песка и ила. Песок откладывается на залитой пойме, а когда жара спадет и вода уходит в русло, пески подхватываются ветром и разносятся по долине. Тысячелетиями Пяндж, как лента транспортера, поставляет сюда песок. И ил тоже. Но высохший ил уносится ветром далеко, а песок переоткладывается тут же, возле русла. Он скапливается в виде дюн, бугров и гряд. Растительность не успевает с ним справляться: только начнется укоренение первых растений, как через год приносится новая порция песка, засыпающая отважных переселенцев.

В одном месте террасу разрыли экскаваторы. Из карьера песок везут на стройки Хорога. Здесь обнажен слой мощностью метров в пятнадцать. Получилась почти отвесная стенка. Песок после вчерашнего рабочего дня не успел обсохнуть, и на стенке хорошо видны слои разной толщины и разного состава. Широкие слои, сложенные грубым песком, обозначают жаркие годы или группы жарких лет. Ледники тогда таяли быстро, вода в Пяндже текла бурно и несла грубый материал. Тонкий песок и ил слагают узкие слои, отложенные в холодные годы, когда воды в реке было мало и несла она только тонкие частицы в малом количестве. Наверное, бывали особенно холодные годы, когда Пяндж и вовсе не заливал террасу. Слоистая стенка, как термограф-самописец, отразила климатическую историю последних тысячелетий. Широкие слои перемежаются узкими в правильной последовательности: через каждые двадцать —

двадцать пять лет идет особенно толстый слой, через столько же лет — самый узкий. Решив потом подсчитать всю эту хронологию подробнее, я сфотографировал стенку.

В Поршневе, на базу геологов, я пришел ближе к вечеру. Поршнев — самый большой кишлак в области. В те времена в нем было жителей больше, чем в Хороге. В сущности это несколько кишлаков, слившихся на верхней террасе правого берега Пянджа в один восьмикилометровой длины поселок. Снизу, с дороги, ни селений, ни поσεων не видно: все наверху. Только там, где терраса прорвана горным потоком, выбросившим конус наносов к самому Пянджу, расположилась видная с дороги часть кишлака. Здесь геологи и построили свою базу: лаборатории, склады, гаражи, мастерские, жилые дома. Это дружественная мне держава: с геологами я чувствую себя как с родными людьми, близкими по духу и интересам, по взглядам и системе ценностей. У них и заночевал, пройдя первые двадцать пять километров.

Всего я шел двадцать шесть дней. Если бы не время, потраченное на увиливание от предложений водителей подвезти, да на некоторые приходящие обстоятельства, мог бы дойти и быстрее. Впрочем, я не спешил.

С пограничниками у меня были хорошие отношения. Обычно, узнав меня, солдаты только подмигивали: «Езжай, борода!». За много дней пути вдоль границы я, в который уже раз, сумел убедиться, что она действительно на замке.

Путь шел вдоль Пянджа вниз. Но уклон можно было заметить только по альтиметру. Дорога иногда взбиралась вверх, и Пяндж оказывался где-то в такой глубокой щели, что шум воды был еле слышен. Потом дорога спускалась к самой воде. И так все время. Ночевал, где придется. Припасы пополнял в сельских магазинах. Пикетажка заполнялась описаниями. Профиль на миллиметровке становился все длиннее, а ночи все холоднее: осень наступала быстрее, чем я спускался к теплу. После первой сотни километров спуск составил всего триста метров. Пяндж на первом этапе пути широко расплескивался и тек между песчаными островами. Только кое-где он втискивался в узкое ущелье.

Здесь я должен по необходимости отвлечься. Дело в том, что, шагая вдоль реки, я получал не очень характерный профиль. Он не

отражал естественной высотной поясности, которая проявлялась лишь на склонах, увлажняемых только осадками (их принято называть склонами атмосферного увлажнения). У реки же увлажнение было либо грунтовым, вызванным подпором речной воды на пойме, либо поливным, искусственным, поскольку все культуры на Памире возделываются только на поливе. Если подниматься по склонам атмосферного увлажнения, то по мере подъема становится холоднее и... влажнее, так как ослабевают испаряемость. Иначе выглядит подъем вдоль реки: температуры падают, но увлажнение остается одинаково высоким. Образуется как бы два поясных ряда: один — ксерофитный, на склонах скудного атмосферного увлажнения, а другой — мезофитный, на богатом прирусловом увлажнении. Соответственно и ландшафты и растительность на одной и той же высоте в ксерофитном и мезофитном рядах, то есть на склонах и у реки, оказываются совершенно различными. Шагая вдоль Пянджа, я видел на сухих склонах скудную желтоватую разреженную растительность горных пустынь: полыни, прутняк, кое-где терескен, колючие травы и растения-подушки. Сквозь этот покров просвечивала щебенка. Зато на пойме тут же виднелись зеленые осоковые лужайки, болотца, заросли ивы и облепихи, а на политых конусах выноса возле кишлаков — рощи грецкого ореха, тутовника, абрикоса, яблони, груши, посева зерновых, которые тогда как раз убирали. Короче говоря, я прослеживал сверху вниз мезофитный поясной ряд, на протяжении которого должна сказываться все возрастающая по мере спуска температура. Только температура, поскольку увлажнение оставалось стабильным и высоким. Зато можно было проследить интересные смены растительности от холодных пойм Памира до субтропических тугаев.

Сначала в описания попадали довольно холодостойкие пойменные растения: туранская ива, ива Вильгельмса, облепиха, мирикария. На солонцеватых лугах росли пушистая остролодка, свинорой, кияк, солодка. Первый признак потепления обнаружился на пятый день пути. На песчаной террасе возле скалы, по которой стекала родниковая вода, рос куст миндаля бухарского. На альтиметре было 1850 метров. Первая ласточка из субтропического пояса! Через десяток-другой километров на пойме показались кусты тамариска. Вторая ласточка, на этот раз из душных тугаев, что росли вдоль равнинных рек Средней Азии.



В этот день последовала еще одна находка, совершенно неботаническая, но крайне интересная. На отвесной, отполированной водами древнего Пянджа воронёной скале, покрытой пустынным загаром, виднелась надпись, тоже изрядно потемневшая и поэтому не бросающаяся в глаза:

*Шт.-кап. Д. Топорнинъ*

*Прошел 18-VIII-1911.*

Я опешил. И было от чего. Тот самый Топорнин!

Надпись была сделана так высоко, что, даже стоя ногами на седле, дотянуться до нее было бы трудно. А ведь нужно было выбивать слова на камне. Объяснение могло быть только одно: старый овринг, по которому Топорнин ехал, в 1911 году располагался выше полотна современной автомобильной дороги. Когда Топорнин выбивал эту надпись, Сарезскому озеру было всего полгода от роду. Собственно, и озеро-то еще не было, был лишь завал, уничтоживший кишлак Усой. Когда Топорнин выезжал из Ташкента на Памир, он должен был ощутить сейсмический толчок Усойской катастрофы. Ведь толчок зарегистрировали даже в Пулкове.

Разглядывая надпись, я как бы приобщался к событиям давних лет. Но самое главное было даже не в этих сугубо эмоциональных и чуточку сентиментальных переживаниях, а в том, что я знал этого человека, этого штабс-капитана. Не лично, конечно, а как одного из первых топографов, составлявших в начале века карту Туркестана. Знал я также, что Топорнин был родным братом Евгении Сергеевны Корженевской, именем которой назван один из могучих пиков-семи тысячников Советского Союза. А следовательно, был Топорнин шурином крупного исследователя гор Средней Азии профессора Николая Леопольдовича Корженевского, мужа Евгении Сергеевны, открывшего этот пик. Но и это не все, хотя я лично знал и Николая Леопольдовича, и Евгению Сергеевну и надпись на скале вызвала живые воспоминания. Дело в том, что сама работа военного топографа Д. Топорнина уходила своими корнями в еще более далекое прошлое.

...1893 год. Россия и Великобритания создали совместную разграничительную комиссию, которая наконец-то должна была положить конец постоянным столкновениям на неопределенных тогда

рубежах между русским Туркестаном и колонизованной Индией. Комиссии нужна была подробная карта Памира. Ее делали и британские, и русские военные топографы, стараясь выполнить задание с максимальной тщательностью: сторона, располагавшая лучшим топографическим материалом, могла иметь преимущества во время переговоров. Глава английской части комиссии генерал Джерард пытался затянуть переговоры по целому ряду соображений, позволявших англичанам надеяться на разграничение в их пользу. Поводом для затяжек служило «отсутствие карт», хотя британский топограф и разведчик майор Холдидж со своим отрядом работал довольно энергично. Каково же было удивление Джерарда, когда глава русской части комиссии полковник Повало-Швыйковский в начале 1894 года предложил начать переговоры на основе русских карт. Топографический материал оказался хорошим, и Джерард попытался оттянуть начало переговоров уже на другом основании: Повало-Швыйковский всего лишь полковник, а Джерард желает вести переговоры только с равным по чину. И эта уловка не помогла: Повало-Швыйковскому был присвоен генеральский чин. Джерард вынужден был начать переговоры. Правда, поскольку Повало-Швыйковский имел только депешу о присвоении чина, а эполеты у него оставались полковничьи, Джерард настоял, чтобы в официальных актах русского главу комиссии именовали «полковником, имеющим чин генерала». Мелкий укол!

В 1895 году было подписано соглашение о разграничении. Памир приобрел государственные рубежи, известные сейчас каждому школьнику. Согласно этому соглашению, афганские войска, оккупировавшие Рушан, ушли на левый берег Пянджа. Но поскольку до 1895 года они оккупировали правобережье от устья Язгулема до Хуфа, русские топографы не смогли тогда отснять эту часть Памира. В какой-то мере эту задачу выполнил в 1898 году М. А. Кирхгоф. Он составил карту от Хуфа до Шидза. Севернее карты не было. Топорнин, сын коменданта Оша, шурин будущего профессора и академика, брат женщины, чьим именем названа одна из крупнейших вершин страны, восполнил в 1911 году этот пробел...

Рассматривая надпись, я чувствовал, как на полуметровом участке скалы сконцентрировались события десятилетий, совершенно, казалось бы, разрозненные, а на самом деле связанные глубокой

преимуществом, казавшейся мне полной особого смысла. С этим настроением, уже под вечер, я направился в кишлак Шипад, чтобы заночевать у знакомого агронома.

## ***ПОСЛЕДНИЙ ПАМИРСКИЙ УЧАСТОК ПУТИ***

Чтобы добраться до Шипада, нужно было пройти отрезок Пянджской долины, от созерцания которой у меня всегда захватывало дух. На афганском берегу Пянджа высилась отвесная скала, по которой шел овринг. Крупнее и головокружительнее овринга я не видывал. Прилепившаяся к скале навесная тропа зигзагом уходила вверх метров на двести и там терялась из виду за каменным выступом. Только однажды мне довелось видеть, как по этому оврингу шел человек. Похоже было, что муравей ползет по изломанной солоmine. Рассказывают легенду, будто с этого овринга бросилась девушка, которую выдали замуж за нелюбимого и везли в его кишлак. Грустная легенда, совершенно подстать мрачному ущелью, со дна которого виден лишь клочок неба.

Я лишний раз порадовался, что мне не нужно лезть на этот овринг, что по нашему берегу идет автомобильная дорога. Правда, в этом месте дорогу снова перемели пески. Справа по ходу возвышался огромный, метров на двадцать высотой, вал сыпучего песка. Причудливый изгиб долины в этом месте создавал особый ветровой режим, который и привел к накоплению песка. И сейчас ветер срывал песок с дюны, забрасывал его вверх на скалы, а со скал песок ссыпался тонкими струйками. Несколько экземпляров распростертой триходесмы противостояли разгулу песчано-ветровой стихии, запустив корни в подвижный грунт. Впервые я увидел эти растения здесь в 1954 году. Проезжая через это место в 1974 году, я убедился, что число триходесм за двадцать лет не увеличилось. Дюна явно не поддавалась закреплению.

Кишлак Шипад расположился в устье одноименной реки. Ущелье рассекает западный выступ Язгулемского хребта. Когда-то я ходил по этой щели. По дну ее течет узкий, но бурный поток, берущий начало на леднике Одуди. Помню, пока поднялся по этой щели, четырнадцать раз переправлялся с одного борта потока на другой. А в одном месте

пришлось даже лезть вверх по скользким камням каскада. Вверху, у самого гребня, ущелье раздвигалось, образуя что-то вроде обширного цирка, поросшего сочными травами. Там пасли скот. Тогда я удивился: как же перегоняют скот по сумасшедшей Шипадской щели? Хотел было спросить чабана, но в это время меня начала трясти малярийная лихорадка, и из-за резко подскочившей температуры я тут же забыл о возникшем вопросе. Мне помогли спуститься в кишлак, где я и стучал зубами до тех пор, пока приступ не прошел. Сейчас я вспомнил о том вопросе и задал его любезно принимавшему меня агроному. Тот подумал, вышел и тут же вернулся с дряхлым стариком. После чаепития с долгими ритуальными вежливостями, с разговорами о здоровье старика, его детей, внуков и правнуков, после обсуждения перспектив на погоду и урожай агроном передал старику мой вопрос.

В ответ я услышал интересную притчу. Суть ее в том, что без верхнего пастбища в старину кишлак существовать не мог. Это сейчас, когда колхоз объединяет много кишлаков, пасти можно и на других угодьях. А тогда это было невозможно. Пройти наверх было очень трудно даже без скота. Скот же приходилось переносить через поток на руках, да не раз. И то не коров, а только мелкий скот — баранов. Тогда на сходе решили построить общими силами тропу. Долбили скалы, переворачивали камни, и путь становился чуть лучше. Но хорошим он так и не стал. Тогда пир (старик мудрец) сказал, что отныне каждый, кто захочет жениться, должен сначала сделать сто шагов тропы. Как жених сделает это — его забота. Но без принятой работы пир отказывался благословлять брак, а без пирова благословения какое может быть счастье в браке? С тех пор дело пошло на лад. Ежегодно несколько молодых, собиравшихся жениться, кооперировались и строили тропу. Скот стали перегонять по ущелью своим ходом. В наше время этот обычай забыт, и тропа снова стала плохой. Но скот все-таки гонят своим ходом почти по всей щели, а на руках переносят только через поток.

Рано утром, позавтракав шир-чаем, я пошел дальше. В устье Язгулема на террасе пришлось задержаться возле нескольких жалких разнолистных тополей. В жарких тугаях равнин их видимо-невидимо. Здесь же, на высоте 1700 метров, тополя выглядели больными и чахлыми. Родственники этих тополей процветают на Ближнем Востоке, где их называют евфратскими, родня по другой линии живет

к востоку от Памира, на песках Такла-Макана. Там эти тополя зовут «тограк». А эти бедные родственники забрались на не свойственную им высоту и влачат здесь жалкое существование.

К вечеру в устье реки Хихек встретилось первое дерево инжира, вполне здоровое, метров шесть высоты. Оно росло у воды, защищенное крутым берегом от ветра. Следующее такое дерево я увидел только через три дня пути. Хихекский инжир был явно случайно занесен так высоко, до 1650 метров. Это типичное субтропическое дерево.

Ниже Хихека автомобильная дорога сжалась до предела. Справа козырьком нависали скалы, слева внизу ревел Пяндж. Дорога превратилась в узкий уступ. Разъехаться двум машинам здесь было невозможно. Если не везло и машины встречались, то одной из них приходилось пятиться полтора-два километра до ближайшего расширения — разъезда. При этом художественная декламация пятящегося водителя литературной обработке не поддавалась. В наши дни этот участок дороги расширен. А тогда мне то и дело приходилось втискиваться с рюкзаком в углубления скалы, чтобы пропустить машины. Водители и тут предлагали подвезти. Здесь я не мог отговариваться тем, что сворачиваю сейчас вправо (справа, напоминая, была отвесная с козырьком скала), и новая версия отказа формулировалась иначе: именно эту скалу я, мол, и обследую.

Некоторые водители, обогнавшие меня много дней тому назад и теперь возвращавшиеся, завидев меня, останавливались и с удивлением спрашивали: «Все еще идешь, борода?!»

В устье Ванча я ночевал на пологом склоне древней морены, поросшей выгоревшей к тому времени эфемероидной осочкой и редкими кустиками саксаульника — гаммады. На афганской стороне в кишлаке слышался крик муллы. Внизу глухо ворчал Пяндж. Я лежал и думал о том, что кончается памирский отрезок моего пути. Завтра я пойду уже не на север, как шел до сих пор, а на юго-запад.

## ***ПО СУХИМ СУБТРОПИКАМ***

Западный отрезок южного склона Дарвазского хребта представляет собой исключительный по природным особенностям район. С севера долина Пянджа прикрыта дугой Дарвазского хребта, не

пропускающего сюда холодный воздух. Для осадков склон открыт с юга-запада. Абсолютные высоты дна долины здесь от 1600 метров и ниже. Получилось что-то вроде теплого закутка. Это район сухих субтропиков. Сухими их называют потому, что осадков здесь выпадает чуть больше четырехсот миллиметров в год — вдвое-втрое меньше, чем во влажных субтропиках. Зато тепло. Я это почувствовал не столько собственной шкурой, так как была уже осень, сколько по характеру растительности. Уже к концу первого дня пути по дарвазскому отрезку Пянджа встретился виноград. Собственно, встречался он и раньше, по в виде преимущественно декоративных посадок. Здесь виноград плодоносил и вызревал. Возле родников на откосах дороги росли гигантские злаки — эриантусы. В тугаях равнин их высота достигает шести — восьми метров, здесь — всего трех метров. Дальше больше. Уже не единичные субтропические «ласточки», а целые их стаи встречались мне каждый день. Инжирные деревья стали обычными. На склонах появились кусты граната. Склоны вообще утратили памирский пустынный облик. Теперь они были пятнистыми от разбросанных тут и там кустов: гранат, миндаль, ююба, держидерево, каркас, фисташка, боярышник, парнолистник, шиповник, жимолость, клен Регеля с трехлопастными листьями, сумах, иудино дерево... Кстати, об этом дереве. В России иудиным деревом иногда зовут осину, на которой, согласно библейскому преданию, повесился Иуда. С тех пор у осины, мол, листья дрожат. Не берусь оценивать правдивость самого предания, но осина тут ни при чем. В Палестине, где происходили описываемые в Библии события, осина не растет. А растет там вот это самое иудино дерево из средиземноморского рода церцис. Если Иуда когда и вешался, то скорее всего на церцисе, круглые листья которого, как и осиновые, тоже дрожат при малейшем дуновении ветерка.

С каждым днем пути субтропики проявлялись ярче. Порой создавалось впечатление, что иду я не по горам Средней Азии, а по Балканам, по Греции, где горы покрыты такими же разреженными кустарниковыми зарослями, часто из тех же пород, но с преобладанием сирени. Там, на Балканах, эти заросли называют шибляками, считают их вторичными, появившимися после вырубки и выжигания лесов. Из-за физиономического сходства у нас в Средней Азии эти заросли тоже иногда называют шибляками, без достаточных,

правда, оснований. Наши разреженные заросли кустарников, имеющих родственников в Средиземноморье, не являются вторичными. Они, как сейчас установлено палинологами, эволюционно развились из древних третичных теплолюбивых лесов, которые из-за иссушения климата деградировали и площадь которых сократилась. Это произошло за несколько миллионов лет до появления человека — жечь и рубить леса было некому.

В Калаи-Хумбе, на полпути, пришлось прервать путешествие. Полученное на почте письмо требовало срочного моего появления в Душанбе на два дня. Оставив рюкзак на почте, я вылетел на малюсеньком самолетике, стартовавшем с высоко лежавшего обломка древней террасы. Через два дня, отмывшийся и отъевшийся дома, закончив служебные дела, прилетел обратно и продолжил путешествие.

За Калаи-Хумбом, уютным районным центром, мой путь шел уже не по тракту, свернувшему на север к перевалу, а по автомобильной колее, пробитой совсем недавно. Машины здесь ходили только колхозные и очень редко. В иной день на колее не появлялось ни одной машины. Соответственно меньше стало пыли. Не нужно было симулировать работу при появлении попутных машин. Теперь путешествие могло бы идти быстрее, если бы не одно обстоятельство. Заклучалось оно в том, что я спустился в достаточно низкий и теплый пояс. Я шагал теперь на уровне 1400–1200 метров. Там, откуда я начал поход, то есть на километр выше, еще только убирали урожай. Здесь же уборка кончилась и наступила пора... свадеб. Почти в каждом кишлаке слышался грохот дойры и свадебная песня «Ёр-ёры». Над кишлаками плыл запах плова. По здешнему поверью, путник, попавший на свадьбу, приносит счастье в браке, и я был, как говорится, нарасхват. В первый раз меня пришли приглашать на свадьбу жених со своим отцом-стариком. Отказать было невозможно. Это задержало путешествие почти на сутки.

Потом я попал на грандиозную свадьбу. Достархан на триста персон. После еды устроили бузкаши, по-русски — «козлодранье». Это, так сказать, конно-спортивная игра. Очень древняя, традиционная. Режут козла, отрезают ему голову, сдирают шкуру, а тушу кидают в круг. Конники со всех сторон кидаются к кругу. Надо прямо с коня схватить тушу, домчать ее к финишу и бросить за черту.

Победитель получает приз, обычно символический. Пари заключаются далеко не символические. Во время игры тушу можно вырывать друг у друга, выбивать соперника из седла и тому подобное. Ограничительных правил мало, иногда их и вовсе нет. Игра грозит участникам травмами, если не хуже. Позже мне доводилось видеть в Афганистане грандиозные бузкаши на добрую сотню конников. Здесь же все было скромно, почти по-домашнему: всего два десятка всадников. От этого ристалища несет пылью, конским потом, ранним средневековым и безумно-дикой удалью. Зрелище возбуждает. Возбуждился и я. После двух заездов пожелал принять участие. Мне подвели коня. Тапочки в стремях болтались, но сначала мне удалось вырваться в передовую группу. Потом двое парней пристроились у меня по бокам, конь ушел из-под меня, а сам я, описав плавную траекторию, грохнулся на спину. Пока я пытался хотя бы вдохнуть в легкие глоток воздуха, надо мной, даже не задев, промчались кони. Народ веселился. Я еле добрал до места. Когда бузкаши кончилось, я спросил одного из тех парней, что выбили меня из седла: как это они так ловко сделали? Парень хитро прищурился: «Давай садись еще раз, мы покажем как». Хохот! Я категорически отказался.

После еще двух свадебных раутов я понял, что при таком ходе событий я не доберусь до Душанбе до поздней осени. Надо было что-то предпринимать. Сначала я проскакивал кишлаки не останавливаясь и ночевал на значительном отдалении от населенных пунктов. Но жаждающие счастья женихи находили меня всюду. Тогда я решил изменить маршрут и свернуть в горы. Замысел основывался на поясных закономерностях: пока иду вверх, в горах свадьбы еще не начнутся, поскольку там еще убирают хлеб, а когда спущусь по ту сторону хребта, там свадьбы уже отгремят. Быть по сему! И от кишлака Джак я свернул вверх по реке и начал медленно подниматься, уходя от свадебного шума в тишину зеленого ущелья.

### ***ЧЕРЕЗ ХРЕБЕТ ХОЗРЕТИШО***

Отклоняться от продуманного маршрута было жалко. Общая протяженность пути при этом удлинялась на полсотни километров, незапланированный подъем требовал дополнительной эксплуатации и



без того истрепанных резервных кед, сам я и так уже порядком устал, но главное, я вынужденно уходил от пойменной растительности, становившейся все богаче и интереснее. На пойме Пянджа ниже Калаи-Хумба появилось множество разнолистных тополей, резко выделялись деревья серебристого восточного лоха, нежной зеленой пеной пойму затягивали заросли тамариска. Все это было перевито лианами ломоноса, заполнено высокотравьем, среди которого выделялись дикий кендырь, мальвы, инкарвиллеи. Было много тростника. А ив и облепихи становилось все меньше. Правда, такие густые пойменные заросли встречались лишь на расширенных участках поймы, но были они чрезвычайно интересны: чувствовалось дыхание субтропических пойменных джунглей... Но выхода у меня не было. Альтернатива была железная: либо свадебные гулянья до ноября, либо работа. Утешало лишь то, что так или иначе я должен был вернуться к Пянджу в сорока километрах ниже того места, где свернул в горы.

Но через полчаса подъема я перестал жалеть об изменении маршрута. Растительность Джакского ущелья была столь великолепна, что ни о чем другом уже не думалось. После редколесных пейзажей, к которым за последнюю неделю я стал уже привыкать, густые лесные заросли на склонах ущелья производили ошеломляющее впечатление. У воды виднелись густые заросли грецкого ореха и платана, который в Средней Азии называют чинаром. Выше на склонах росли кленовые леса. Не редколесья из клена Регеля, а густые леса из туркестанского клена с пятилопастными листьями. Клену сопутствовали заросли из шиповников, экзохорды, жимолостей, боярышника. Там, где склоны становились круче, кустарниковая поросль переживалась, и тогда господствовали парнолистники, гранат, держидерево. Набив карманы плодами граната, я посасывал их приятный кислый сок и любовался буйством травостоев по опушкам лесных и кустарниковых зарослей. Перистые листья жгучего весной прангоса сейчас были безопасны. От сухости они утратили ядовитость. Защитив растение от потрав в период цветения и плодоношения, жгучий секрет (выделения) выполнил свою функцию и утратил силу. Рядом виднелись зонтики буниума, скалигерий, желтые отцветающие кисти крестовника, белые граммофончики мальвы-алтея, собранные в кисть шарики — плоды

эремуросов, коричневатые завядшие соцветия коровьяка, бледносиреневые колокольчики, недотрога...

Это уже были настоящие горные леса. В этой части Дарваза, в хребте Хозретишо, осадков выпадает много, и леса растут именно здесь. В Памиро-Алае леса занимают чуть больше трех процентов территории, и то, что я сейчас видел, представляло собой настоящую редкость.

Восторженное настроение заметно портило обилие змей. По моему, я нигде больше не видел их в таком количестве. Всюду вдоль тропы лежали, греясь на осеннем солнышке, жирные гюрзы. К счастью, осенью от холода они становятся вялыми и теряют агрессивность. Иначе бы мне несдобровать. Сапог у меня не было, и в любую минуту мог последовать роковой удар по ноге. Приходилось идти с оглядкой. Завидев меня, змеи издавали свиристящее шипение и обычно неторопливо расползались. Но отдельные упрямы отказывались уступать дорогу. Их приходилось убивать ледорубом. К вечеру лопатка ледоруба стала желтой от змеиного жира, а сам я устал от бдительности. Рано утром, когда было особенно холодно, я обнаружил гюрзу, пригревшуюся у моего спального мешка сбоку. Сна как не бывало. Прогнав незваную гостью, я быстро зашагал вверх, стараясь, пока холодно и змеи почивают в укрытиях, уйти за пределы лесного пояса. Когда солнце осветило наконец ущелье, позади остались редкие шиповниковые заросли, венчавшие лесной пояс, а я шагал по пахучим травостоям из зверобоя, дикого льна, тимьяна и злаков. Тропа давно увела меня от реки, и я поздно спохватился, что не успел напиться чаю и взять воды в запас. Выручили кислые плоды граната, прекрасно утолявшие жажду. Ближе к вечеру прошел перевал Вальволяк на высоте чуть больше 3400 метров, заспешил вниз, к теплу, но добраться до него не успел. Попал я, как у нас говорят, «вдоль ночи»: не столько спал, сколько прыгал от холода. Пытался разжечь костер, но в темноте удалось найти лишь несколько кустиков персидской полыни, вмиг сгоревших. Альпинистский примус, сожрав остатки бензина, погас. Едва начало рассветать, я быстро пошел вниз и согрелся только в маленьком кишлачке, когда сердобольная старуха накормила меня горячей гороховой похлебкой и напоила чаем.

В другом кишлаке в сельмаге купил очередные тапочки, пополнил запас продовольствия и курева, а разбитые вдрызг кеды выбросил.

Теперь можно было идти дальше. Осталось каких-нибудь двести километров.

## ***ПОСЛЕДНИЕ ДВЕСТИ КИЛОМЕТРОВ***

Через два дня я миновал цветущую долину Обиминью. За Даштиджумом, в котором я попал-таки на очередную свадьбу, леса стали быстро редеть, и я снова вышел к Пянджу. Долинная растительность здесь стала еще богаче, но, к сожалению, была сильно изуродована вырубками. Вскоре от Пянджа надо было сворачивать на запад, чтобы выйти к Кулябу. Пройдя невысокий, но с довольно крутым восточным подходом Хирмапджайский перевал, который почему-то часто зовут Александровским, я спустился с отрога Хозретишо к Шураабаду и двинулся на Куляб. Здесь уже ничто не напоминало пышную растительность дарвазских склонов или пянджской поймы. Кругом на пологих холмах желтел высохший травостой. Только приглядевшись внимательно, можно было распознать пырей, костры, луковичный ячмень. Исчезла горная свежесть воздуха. Было пыльно и жарко. Это был уже совсем другой геоботанический округ, Южный Таджикистан, гигантская депрессия с субтропическим климатом и эфемеровой растительностью. Однообразие ландшафтов действовало угнетающе. В Кулябе с трудом преодолел желание махнуть рукой на всю затею, сесть в самолет и попасть поскорее домой. Много в жизни этих соблазнов, мешающих делу. Им только поддайся!

Потом было еще семь дней пешего перехода. Я миновал оазисы Яхсу, низкогорья Кангурта, бывшие когда-то житницей Бухарского эмирата, прошел по Пулисангинскому мосту через Вахш...

Скалистые берега реки сдвинулись здесь так близко, что могучая река, втискиваясь в пяти-, шестиметровую щель, дико ревела от такой тесноты. Через щель перекинут деревянный мостик. Через него могли ходить и машины. С моста вахшская вода почти не видна: щель извилиста и глубока. Об этом месте ходит множество легенд. В них и девушка, кинувшаяся в воду от несчастной любви, и богатырь, прорубивший мечом скалы, и красноармеец, который перемахнул на коне через щель и ушел от басмачей, прижавших воина к Вахшу.

Красивые легенды. Впрочем, про красноармейца говорят, что все так и было... Сейчас Вахш в этом месте перегорожен гигантской плотиной ГЭС, а тихий в те времена кишлак Нурек превратился в современный город, тоже легендарный.

Монотонные выгоревшие холмы сменились крутыми откосами, поросшими фисташкой, миндалем и парнолистником. За перевалом Зардолю открылась наконец Гиссарская долина. Я шагал уже как автомат. Цель была близка, но сам процесс ходьбы надоел предельно.

На двадцать шестой день я пришел в Орджоникидзебад. До Душанбе оставалось всего восемнадцать километров. Но мне так и не довелось их пройти. Во всем были виноваты мой вид и бдительность местной милиции. Честное слово, я не осуждаю добросовестных милиционеров. Судите сами: с дремучей бородой, черный, потный, пропыленный, в разлезшейся рубашке, в драных парусиновых тапочках на босу ногу, с засаленным рюкзаком, местами прогоревшим, с ножом у пояса и ледорубом в руках — такая фигура может привлечь внимание. К тому же на подходе к Орджоникидзебаду я ухитрился влезть в густую грязь арыка и из-за этого тоже изрядно прогадывал во внешности. Пока я шел через город, у меня дважды проверяли документы, а на третий раз свели в отделение милиции, по дороге в которое конвой сопровождала тьма радующихся событию ребятишек. Мою личность выясняли в течение трех часов. К счастью, день был рабочий, и после звонка в Душанбе майор милиции вздохнул и разрешил мне следовать дальше. Но я уже понял, что цивилизация и нынешний мой вид несовместимы. Выйдя из милицейского отделения, я сел в первый же автобус и поехал в Душанбе.

Мне уже было все равно. Я прошел пятьсот восемьдесят километров пешком, а последние восемнадцать километров ехал в автобусе, как горожанин. Поэтому я не могу сказать, что прошел пешком от Хорога до Душанбе. Я прошел только до Орджоникидзебада. Но профиль я получил все-таки полный. Ведь это восемнадцать километров оазисов, хлопковых полей. А это уже не мой объект, не геоботанический.

Поход был полезным. Удалось проследить долинную растительность Пянджа от 2200 до 900 метров абсолютной высоты. В результате я убедился, что горные и долинные тугаи очень постепенно переходят друг в друга. Растительность прилегающих к долине

склонов в том же высотном диапазоне помогла уточнить границы между геоботаническими округами. Но самое главное, я лучше узнал Таджикистан, его людей, его жаркие долины и суровые горы. И чем дольше я шел, тем больше, в который уже раз, убеждался, что в этих горах есть все, ради чего я водился.



# МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ НАДО?



## *У ЛЕДНИКА ГАРМО*

Комфорт располагает к лени — это я давно заметил. Наш лагерь был, безусловно, комфортабелен. Он стоял под роскошным грецким орехом. Для лагеря лучшего дерева нет. Орех тенист и чист. В его листве не водится никакой нечисти, а крона так густа, что не всякий дождь ее пробьет. Широкие листья ореха имеют тонкий, приятный запах. Шелест их уютен. Мы знали, что проживем здесь целый август, и стремились оборудовать все как следует. Немало способствовали комфорту старания нашего шофера Александра Павловича Дерунова. После того, как под орехом были перевернуты все камни и из-под них выгнаны и уничтожены скорпионы, после того, как на подготовленных площадках были разбиты четыре палатки, Александр Павлович соорудил еще навес и примитивную печь. В двух десятках метров от лагеря катила серые воды река Обихингоу. Ее рокот стал привычным, как тиканье часов в доме: его не замечали. Выше по конусу выноса располагался покинутый кишлак. Лет десять прошло с тех пор как его жители переселились в хлопкосеющие районы. Ненаселенной была не

только окрестность лагеря, но и вся верхняя часть долины. Сады стали дичать, но в них еще вволю можно было набрать вишни, черешни, груш, тутовника, абрикоса. Александр Павлович, исполнявший ко всему прочему и добровольно взятые на себя обязанности повара, ежедневно набирал в ведро разнообразные плоды, и в нашем рационе появились компоты и кисели. От такой жизни кто хочешь разленится. Я боролся, сколько мог, но сегодня решил в маршрут не ходить. Дела шли успешно, и я сказал, что хочу побыть на лагере и подумать. Не нужно было натягивать успевшие надоесть за лето горные ботинки. Я обулся в легкие тапочки и развалился на надувном матрасе. Александр Павлович тут же мобилизовал рабочих и лаборантов на сбор фруктов, а я глядел на противоположный берег реки и наслаждался покоем. И окружающей красотой тоже.

Долина Обихингоу по праву считается одной из самых красивых в Таджикистане. Здесь шестнадцать лет тому назад я начинал свою работу в Средней Азии. Эту долину тогда я не просто прошел, но и откартировал по левому борту, а это значит облазил всю от русла до гребня. Насчет красоты свидетельствую, что это так. На протяжении полутора сот километров несет свои воды Обихингоу, означающая в переводе «больная вода». Вода настолько мутная, что перед употреблением ее сутки надо отстаивать во флягах. А «больной» эту воду называли, наверное, оттого, что в старину здесь бытовали и малярия, и трахома, и прочие хвори. На картах прошлого века река называлась Хуляяс. Узбеки Куляба, пригоняющие сюда на лето скот, сам слышал, до сих пор ее так называют.

Река берет начало в системе ледника Федченко, а точнее — с ледника Гармо. Таким вот образом река, ее долина, оказалась транзитным путем из равнин Туркестана к высочайшим вершинам Памира. В прошлом веке этим путем ходил В. Ф. Ошанин, открывший хребет Петра Первого. Бывали здесь также ботаники А. Э. Регель и В. И. Липский, географ Г. Е. Грум-Гржимайло, зоолог А. А. Бобринский. В начале нашего века долина видела таких людей, как Борис Алексеевич и Ольга Александровна Федченко, И. В. Мушкетов, С. Я. Эдельштейн... Начинать здесь работу после тех, кого мы сейчас считаем классиками, было страшновато.

Сейчас, шестнадцать лет спустя, мне понадобилось снова поехать сюда. Я пытался разыскать места, где делал когда-то описания, чтобы

продублировать их и выяснить характер изменений, происшедших с растительностью за эти шестнадцать лет. Изменения были. Надо было их обдумать. Вот я и думал. Размышлял и о состоянии дороги в верхнюю часть долины. С тех пор как население оттуда ушло, и без того плохая раньше дорога стала и вовсе никуда не годной. Мы как-то проехали на нашем ГАЗ-51 вверх километров десять, так Александр Павлович, на что уж бывалый памирский водитель, и то кряхтел, жалея машину.



К обеду отряд собрался в полном составе. Стало шумно. От печи потянуло чем-то вкусным, Александр Павлович степенно отвечал на вопросы дам, интересовавшихся его поварским мастерством. Молодежь отправилась к реке, и оттуда теперь доносились веселые крики. Поднимаясь с ложа, я твердо решил рушить этот лагерь и перебраться в менее комфортабельное место, по возможности вверх. А то тут разнежишься с компотами. И так уж...

На дороге сверху показалась машина — «козлик». Подумал: наверное, экспедиция какая-нибудь, больше сверху быть некому. Из машины вышли военные. Впереди шел подполковник. Вдруг до меня дошло, кто это, и я кинулся навстречу:

— Володя! Рацек!

Кто-то из нашей молодежи пискнул:

— Рацек? Дайте посмотреть на живого Рацека!



Александр Павлович радостно закричал:  
— Владимир Иосифович, как раз к обеду!

Мы обнялись. Все были представлены друг другу. Расстелили тенты, расселись.

За обедом выяснилось, что группа Рацека штурмует пик Коммунизма, а базовый лагерь находится у языка ледника Гармо, в березовой роще, которую я знал по старым временам. Сейчас Рацек ехал встречать вертолет, который должен вернуться из Душанбе. Предложил лететь к леднику и мне. Конечно, я согласился. Вечером мы уехали. Разгром комфортабельного лагеря откладывался на неопределенное время.

Люди нашего отряда не зря хотели посмотреть на «живого Рацека». Он человек известный, можно сказать, легендарный. Заслуженный мастер спорта кандидат географических наук подполковник Владимир Иосифович Рацек одарен многогранно. Это он открыл пик Победы, вторую по величине вершину страны, хребет Меридиональный, множество ледников, перевалов, вершин. За эти открытия Географическое общество СССР удостоило его золотой медали Семенова-Тян-Шанского. Владимир Иосифович — знаток Средней Азии. В своих трудах он отстаивает идею, согласно которой современное горное оледенение деградирует. С ним не всегда соглашались, но, поскольку никто (это можно смело утверждать) не знает среднеазиатских высокогорий так, как Рацек, спорить с ним трудно.

Мы знакомы давно. Бродячая судьба и деятельная натура Рацека приводят к тому, что мы с ним встречаемся почти всегда случайно, вот так, как сейчас. Много перемещаемся, вот и встречаемся.

По дороге Владимир Иосифович рассказывал мне последние новости. Пик Коммунизма штурмует целый взвод. Ребята из-за непогоды повисли где-то близко к вершине, ждут прояснения. Погода и состояние штурмового отряда тревожат. Говорили и о моих делах.

Заночевали в Ляйруне. Туда же прибыл и вертолет. Уговорились лететь чуть свет. Побудка последовала еще в темноте. Пока споласкивали лица и пили горячий чай, начало рассветать. Пилот из кабины уже торопил нас жестами. Вылетели.

Внизу долина была еще во мраке, но вершины гор уже золотились на солнце. Я смотрел в иллюминатор и пытался восстановить в памяти

местность такой, какой я видел ее шестнадцать лет назад. Это было трудно. Тогда я смотрел на горы с земли, теперь — сверху. Но все-таки узнавал. Вот внизу виднеются квадратики покинутых кибиток самого верхнего кишлака Пашимгар. Сверху хорошо видно, как в этом месте река расплескивается на несколько рукавов по плоской галечной пойме. Пойма не успевает зарастать. С севера и юга на нее сбрасывают наносы реки Батрут, Бахут и Киргизоб, с востока — река Гармо. Каждая река берет начало со своего ледника, каждая имеет свой индивидуальный режим. И получается так, что стоит одной реке поутихнуть, как начинает бурно разливаться другая, и пойма все лето затоплена.

Летим над долиной реки Гармо. Внизу показалось запрудное озеро. Новость: раньше его не было. Это тоже результат бурной деятельности горных рек. Какой-то боковой приток в разгар таяния ледников выбросил в долину Гармо селевой конус из грязи, камней, гальки, вырванных деревьев и кустов. Вся эта масса перегородила русло. Перед естественной плотиной скопилась вода. Образовалось озеро. Надолго ли?

Слева внизу появляется роща, хорошо мне знакомая. Когда-то именно в ней я ночевал и мерз по пути к леднику Гармо. Базовый лагерь Рацека удобно раскинулся в этой березовой роще. Приземляемся на пойме. Народу в лагере множество. В вертолет тут же закатили бочку горючего, туда же влезло несколько человек, с которыми я даже не успел познакомиться, машина взревела и пошла, набывчившись, вперед и вверх.

К моему удивлению, возле капитальной кухни лагеря командовала приданными ей дежурными повар Аннушка, старая знакомая. Она, сколько помню, всегда трудилась в экспедициях, кормила геологическую братию. Подвижная, круглая, добрая Аннушка! Она всегда ухитрялась из немудреных экспедиционных запасов приготовить что-нибудь вкусное. Один из начальников геологической экспедиции говорил мне, что Аннушка — это уже половина успеха работы: обеспечивается хорошее питание и отличное настроение. Ай да Рацек! Сманил-таки Аннушку.

Забросив рюкзаки в палатки, мы с Рацеком отправились к леднику. Па конусе выноса, поросшем арчой, Рацек повел меня куда-то в сторону. По пути он срывал цветы тысячелистника, ветки

жимолости, арчи, березы, сооружал букет. Про себя я дивился: Рацеку такое занятие не свойственно. Минут через десять мы подошли к арчовому дереву, и Рацек стал разбрасывать цветы и ветки возле плоского камня. На камне по-английски было выбито:

*Вилфрид Нойс,  
Робин Смит —  
ник Гармо —  
24.7.62.*

Это был памятник погибшим английским альпинистам. Они рухнули в трещину, достать их оттуда так и не удалось. Экспедицией руководил один из героев Джомолунгмы, Джон Хант. Об этой экспедиции я тогда слышал. О несчастье тоже. Теперь вот мы в молчании стоим перед самодельным памятником.

По пути к леднику Рацек рассказал, что тогда Хант сразу свернул экспедицию, англичане все побросали и улетели, подавленные свалившимся на них несчастьем. Когда экспедиция Рацека прибыла сюда, всюду были разбросаны кислородные баллоны, веревки, баулы со снаряжением. На одном бауле стояло имя Ханта. Там была оранжевая капроновая веревка. Потом Рацек дал мне кусок этого хантовского репшура, и он до сих пор висит у меня в кабинете. А тогда мы шли и говорили о молодых здоровых парях — Смите и Нойсе, погибших на чужбине. Говорят, что альпинизм — школа мужества, но если это так, то это очень жестокая школа.

Конец ледника был грязным, растрескавшимся и шумным. Потоки талой воды гудели в расщелинах, текли по рандкдюфтам, стекали по ледяным ступеням. Вода журчала, капала, ревела, создавая шум, свой собственный и отраженный эхом от стен ледяных расщелин. По всему было видно, что ледник разрушался, отступал. Перед языком виднелось несколько валов, последовательно отмечавших фронты отступления. Это было как раз то, что Рацек хотел показать мне. Показал и схемы, сделанные им по аэрофотоснимкам разных лет. По схемам было видно, насколько отступил край ледника за двадцать лет. Ту же работу Владимир Иосифович проделывал на сотнях ледников Средней Азии: он фиксировал стадии, темпы, этапы и формы деградации горных ледников. Отступали они почти повсеместно. Даже на северных склонах. Даже во влажных районах, как ледник Гармо. Я говорю «почти», потому что бывают исключения. Есть ледники

стабильные. Есть даже наступающие, продвигающиеся вперед и вниз. Они заставляли Рацека быть особенно внимательным, чтобы правильно установить причины такого поведения. Он считает, что продвигающиеся ледники, наступая, деградируют, так как вещественный баланс их при этом уменьшается. Приводил примеры. Эх, если бы все альпинисты были такими, как Рацек, изучение высокогорий пошло бы куда скорее!

Потом я три дня бродил по окрестностям, сопоставляя старые описания с современными растительными сообществами. А Рацек почти сутки не отходил от радиста: погода прояснилась, шел штурм пика Коммунизма. Штурмом руководил мой давний приятель Виктор Некрасов, и я тоже волновался. Пик взяли небывалым по численности составом.

Через три дня на базовом лагере готовились к встрече участников штурма. Аннушка сбилась с ног. По троне зажгли самодельные факелы. Радист нашел в эфире подходящий к случаю марш. Штурмовой отряд появился к вечеру. По тропе шли измученные, обгоревшие на беспощадном солнце высокогорий, ободранные на скалах, с обмороженными щеками и потрескавшейся кожей на лицах парни. Они еле передвигали ноги.

Еще дня через два я вернулся к себе на лагерь. Через день снова приехал Рацек с товарищами, а следом мимо нас проехали альпинисты. Парни отоспались, отдохнули, Аннушка откормила их; ребята смеялись, шутили, наперебой тискали и подкидывали какого-то щенка. Мои сотрудники высыпали навстречу машинам посмотреть на героев штурма. Кто-то вздохнул:

— Совсем ведь еще дети! Ведь им же лет по двадцать, не больше!

А еще через день комфортабельному лагерю пришел конец. Часть отряда отправилась в Душанбе вертолетом, часть — машиной, а остальных Александр Павлович повез на Памир, в Хорог. Предстояло еще два месяца полевой работы.

## **СТРАХ**

Жизнь экспедиционного отряда состоит в общем-то из мелких событий. На этот раз мелкие события пошли так густо, что базовый

лагерь почти опустел: кто-то отпросился в город на свадьбу, у кого-то заболела родня, кто-то сам заболел и был отправлен в районную больницу, а кого-то еще раньше я сам отправил на базу за недостающим снаряжением. На лагере осталось всего трое: рабочий Давлятбек, студентка-практикантка Рая и я. Ситуация сложилась вроде как с волком, козой и капустой при одной лодке. Маршруты отменять нельзя: работа должна идти своим чередом. С другой стороны, лагерь бросать без присмотра тоже нельзя. Воров здесь нет, но вездесущая ребятня из кишлака непременно набедокурит на лагере из чистого любопытства. Идти в маршрут с Давлятбеком хорошо, но Рая боялась оставаться на лагере в одиночестве. Отваживаться же на трудный маршрут с девятнадцатилетней девчонкой было рискованно. А маршрут предстоял трудный потому, что был он картировочным, требовал изрядной физической нагрузки, длинных переходов, к тому же не где-нибудь, а в верховьях левого притока Бартанга — Раумиддары. На Бартанге работа геоботаника трудна и невыгодна: ходишь целый день по осыпям, скалам, крутым склонам, и хорошо, если одно-два описания сделаешь. Здесь все устремлено вниз, к дну ущелья, — камни, щебень, почва. Задернованных участков с «нормальным» растительным покровом мало. А именно по таким участкам и составляется схема поясности. И карта тоже. Вот почему маршрут предстоял трудный. Легких на Бартанге вообще не бывает.

Я уж совсем было собрался идти один, но Рая убедила меня взять ее с собой. Она крепкая, сильная, выносливая, работает у меня уже второй сезон. А один в поле не воин. Я подумал и согласился.

К устью Раумиддары добрались к вечеру. Заночевали в геологической партии. Геологи с утра тоже собирались вверх по ущелью. К середине следующего дня группа геологов отвернула в сторону на одно из обнажений, которых здесь видимо-невидимо, а мы с Раей продолжали путь вверх. На третий день вышли в нужный нам квадрат и начали потихоньку работать.

Ох уж эта работа картировщика! День за днем проходит он склоны снизу вверх и сверху вниз. Палит солнце, нот заливает глаза, а он все бороздит склоны. Возле ледников холодный ветер леденит пальцы, а картировщик все лазит, ходит, прыгает, ползает по горам. Так вот, глядишь, кусочек карты и нарисовал. А кусочков этих, ой, сколько! Каторжная работа у геоботаника-картировщика. Но зато кто

лучше его знает территорию? Кто глубже его проникает в жизнь растительных сообществ? Кто богаче его коллекциями, фотографиями, впечатлениями? Никто! Богатый человек геоботаник-картировщик. В сбитой обуви, драной штормовке, выцветшей ковбойке, ходит этот богатый человек по горам, вольный, как ветер, и делает свое трудное, ох какое трудное, дело!

К концу пятого дня работа была выполнена. Остался лишь один двойной профиль от реки Виз к реке Раумиддаре через сравнительно легкий водораздел. Вверх и вниз. И все. Тогда можно возвращаться.

Вверх прошли легко. Разгар сезона: усталости еще нет, уровень тренированности самый высокий. Рая выше всякой критики: ходит легко, работает отлично. Словом, все нормально.

К Раумиду спуск с самого начала показался бесплодным. Задернованных участков не было видно. И не предвиделось, если учесть значительную крутизну склона. Весь он был изрезан глубокими желобами. Они тянулись от самого гребня и скрывались где-то внизу за перегибом. Но все равно этот склон мы обязаны были пройти. Закон картировщика. Карта предположений не терпит.

По желобу спускались в сопровождении камнепада. Перебрались в соседний желоб — то же самое. Очень неприятно идти, все время оглядываясь и увертываясь от летящих камней. По мере спуска склон становился все круче. Кристаллическая порода под ногами сменилась конгломератом. Это что-то вроде козинака, восточной сладости, только вместо орехов в конгломерате окатанная галька, а вместо застывшего меда — цементированный засохший ил. Ходить по такому склону трудно, а если он крутой, то и опасно: галька время от времени под тяжестью выдергивается из спрессованного мелкозема, и нога срывается вниз. Этот склон был крутым, а потом и вовсе перешел почти в отвес. До реки оставалось метров двести спуска. Но я уже понял, что дело плохо. До захода солнца оставалось часа три. Плюс короткие сумерки. За это время вернуться к гребню мы не успели бы. К тому же в сумерках под камнепадом уцелеть трудно. А вниз ходу не было. Мы и так еле удерживались на этом проклятом конгломерате.

На мне были трикони. Они хорошо держали. На Рае были ботинки на резине. Держали они плохо, и я отдал ей ледоруб. Остановились: «Подумать надо». Но думай не думай, если ни вверх, ни вниз идти нельзя, надо идти вбок. И мы пошли по конгломератному откосу,

полти стенке, за которой виднелась кристаллическая скала, по виду вполне сносная, трещиноватая. За такую и уцепиться можно. До скалы было метров четыреста конгломерата.

Рая шла впереди. У нее ледоруб, она выбивала в конгломерате небольшие углубления. Я без ледоруба в триконях передвигался боком, лицом к обрыву. Помочь Рае я не мог: ледоруб один. Так и шли: десяток ударов ледорубом — ямка — шаг, еще удары — еще ямка — другой шаг... В какой-то момент Рая оступилась, по зацепилась ледорубом, и я успел ухватить ее за руку. В другой момент от неудобного положения ступни в ногу мне острой болью ударила судорога. Стукнул по ноге рукояткой ножа — полегчало. Солнце неумолимо катилось к западу, а мы не прошли и половины пути до скалы. Мелькнула мысль: если стемнеет до того, как мы до этой скалы доберемся, значит, все...

...Вспомнил вдруг, как родители Ран пришли в аэропорт провожать нас. Улучив момент, отвели меня в сторонку, робко глядя в глаза, попросили побережь дочку, приглядеть за ней. Вот и приглядел!

После этого воспоминания стало мне вдруг так страшно, как не было, кажется, никогда. За Раю страшно стало. Страшно остаться в живых, если с ней что случится. Страшно от воображения, которое услужливо рисовало неумолимые последствия первого же неверного шага. Страшно!!!

Я сел. Упер каблуки триконей в вырубленные Раей ямки и сел на конгломерат. Сидя, почти стоял, так крут был склон. Рая обернулась. Я курил. Сказала, что пить хочется. У меня и самого язык во рту был как сухарь. Хриплым голосом сказал, что надо потерпеть. Уняв противную дрожь в коленях, встал. Пошли дальше.

...Мы проходили эти четыреста метров три часа. Уже совсем стемнело, когда по скале спустились к реке. Напились вволю. Когда добрались до нашей временной базы, я сказал:

— Ну, после нынешнего маршрута долго жить будете, Рая.

Она обернулась:

— А что, разве было очень опасно?

***ВСЕГО ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ***

Гербарная папка была некоторым образом предметом моей гордости. Очень добротная вещь. Теперь таких папок не делают. И возраст у папки был примерно такой же, как у меня. Во всяком случае, она уже использовалась в советско-германской Памирской экспедиции 1928 года. Об этом свидетельствовал штамп на клапане папки. Потом она долго лежала на разных складах без дела и ко мне попала уже изрядно потрепанной и списанной с баланса. Я ее подремонтировал и вот уже много лет ходил с ней по горам. Папка не шла ни в какое сравнение с новыми изделиями, тоже именовавшимися гербарными папками, тощими и слабенькими. Моя папка, объемистая, с брезентовыми клапанами, с карманом, медными застежками и кожаными лямками, благодаря которым ее можно было носить за спиной, как рюкзак, была великолепна. На пей можно было сидеть. Ее можно было подкладывать под голову вместо подушки. А в ближние маршруты с такой папкой можно было ходить и вовсе без рюкзака: в большой карман влезал запас еды на день плюс альтиметр. Мне уже несколько раз предлагали в обмен на эту папку разные соблазнительные вещи, но я не отдал ее даже за новенький швейцарский ледоруб.

В тот раз я тоже шагал без рюкзака, с одной папкой. Рюкзак уехал вперед, навьюченный на коня, с караваном, который должен был дожидаться меня километрах в пятнадцати ниже по Бартангу в условленном месте ночлега. А я набил карманы папки сухарями и сахаром и шел потихоньку с работой. Случилось так, что я задержался на одной зарастающей плитчатой осыпи лишние три часа. Там я обнаружил несколько интересных растений, наводивших на размышление об их связях с флорой щербнистых низкогорий Западного Памиро-Алая. Само собой, такое размышление требовало материала, и я долго жарился под солнцем на сыпучке: зарисовывал структуру сообществ и раскопанные корневые системы, собирал гербарий, а потом долго карабкался к голове осыпи, проверяя, нет ли этих растений и на верхних скалах. Когда из этой осыпи уже ничего «выжать» было нельзя, я сполз вниз, вволю напился воды из родника, неторопливо погрыз сухарей с сахаром и только потом пошел вслед каравану. Солнце стояло еще высоко, и никаких особых препятствий не предвиделось.



Однако, когда я подошел к реке Баджу, стало ясно, что трехчасовая задержка может сказаться на дальнейшем продвижении. Баджу — крупный правый приток Бартанга. Река питается талой водой ледников, лежащих в Язгулемском хребте, в том массиве, где сосредоточились крупные вершины — пик Северцова, пик Ханым, пик Вудор, все шеститысячники. За год до описываемых событий я выходил на этот массив с севера, со стороны Язгулема, прошел всю Баджу сверху донизу и был совершенно покорен красотой ущелья и особенно прелестью березовых лесов, которые там расположились.

(Я совсем не умею писать о красоте природы. Понимаю, что, написав «покорен красотой», я ничего не сказал читателю. Прочти я сам такое у другого автора, тоже ничего бы не мог себе представить. Совсем другое дело, если я прочту, например, такой отрывок: «Нижний денудационный ярус рельефа представлен в ущелье Баджу почти отвесными базальтами и филлитовыми сланцами, вскрытыми эрозией на глубину до восьмисот метров, ограничен снизу плащом обломочного материала, формирующего делювиальную толщу до ста пятидесяти метров, частично поросшую березняками, сопряженными с территориально ограниченным в прирусловой части грубо окатанным аллювием». Тогда все попятно, это легко себе представить в образах. Но боюсь, что такой текст здесь вряд ли будет уместен. Специфика!)

...Внизу Баджу выплескивает такой здоровенный конус выноса, что даже Бартанг не успевает подрезать и размывать его. Когда мы шли вверх по долине, то переправлялись через Баджу вброд. Это было рано утром. Тогда мы втроем взяли за руки и, поддерживая друг друга, без труда переправились на левый берег. Сейчас, во второй половине дня, Баджу вздулась от талых вод, а я сейчас один. Наверняка за три часа до этого воды было значительно меньше. Сейчас соваться в воду страшновато. Ширина метров двадцать, и бурые валы воды ревели очень внушительно.

Вспомнил, что вверху, где река вырывается из скальной щели, есть мосты. Это километра два обхода, да столько же по той стороне. Но делать нечего — пошел. По крупным окатанным камням шагалось плохо, по трикони надежно цеплялись за шероховатости глыб. Вместо мостика, однако, я обнаружил лишь каменную кладку. Все деревянные части были начисто снесены. Здесь ширина русла была метров пять, и

вода ревела особенно свирепо. Прыгать на пять метров нечего было и думать, и я пошел обратно вниз.

Самое скверное, что я не помнил точно места брода. Тропа на каменистой пойме не просматривалась, и по ней брод угадать было невозможно. Решил подождать, когда кто-нибудь из местных жителей подойдет к переправе. Через час с той стороны подошла девушка. Посмотрела на воду, помахала мне рукой и ушла, не расслышав из-за рева воды моего вопроса о месте брода. Еще через час ко мне подошел старичок, щуплый и хромой. Я обрадовался: уж если такой переправляется, я и подавно переправлюсь. Подошел к старику, стал расспрашивать о месте брода. Старик говорил на «бартанги» — местном наречии шугнанского языка, а по-русски знал только слово «хорошо». Но мой вопрос он понял и махнул рукой на реку там, где стоял. Я стал быстро готовиться к переправе.

Вообще-то это не так просто. Босым через горную реку переходить плохо. Нogu может больно прижать камнем, тогда не мудрено содрать кожу об острую грань. Поэтому я быстро разулся, вынул из горных ботинок войлочные стельки, снова обул ботинки на босу ногу и крепко их зашнуровал. Незашнурованный ботинок (это я знал по собственному опыту) вода легко срывает с ноги. В горных ботинках можно не бояться камней: трикони крепко цепляются за грунт. Да и вода в ботинке не так стремительно циркулирует, как возле босой ноги, и поэтому в ботинках ноги не так мерзнут в ледяной воде. А на том берегу воду выливаешь из ботинок, пока влезает в носки и шерстяные джурабы (узорчатые носки местной вязки), ботинки на солнце подсыхают, а со стелькой потом и вовсе влаги не чувствуешь. Джурабы и носки я затолкнул в карман папки, брюки скатал и затянул ремнями той же папки, полевую сумку подтянул под мышку слева, чтобы ее не заливало, часы сунул в сумку, предварительно поглядев на них. Было без четверти пять. На правой руке затянул темляк ледоруба. Я готов.

Обернулся к старику. Он с интересом следил за моими приготовлениями, приговаривая: «Хорошо», а сам, как был, так и стоял одетый, с палочкой в руках. Я махнул ему рукой: «Пошли!» — и повернулся к реке. И тут — вот уж не ожидал! — дед закинул мне руки на плечи, нежно обнял за шею и повис у меня на спине. Я только крякнул. Дед в хромоте своей явно рассчитывал на меня как на

транспортное средство. А я-то думал, что мы пойдем рядом, поддерживая друг друга. Старик был хоть и щупл, но вес в нем чувствовался. Под носом у меня оказался узелок, который дед зажал в кулачке, под ногами путалась его палка, а сам он так прочно повис на гербарной папке, что лямки врезались в плечи. Н-да! Я отвел его палку в сторону, и он понял, стал держать ее горизонтально. Узелок мне не мешал: вниз глядеть все равно нельзя, голова закружится. И я, глядя на противоположный берег, шагнул в воду.

Первые шаги всегда трудные. Примериваешься к течению, ноги еще ломит от ледяного холода. А потом ноги уже ничего не чувствуют, становится легче. Я переставлял ноги, с трудом удерживаясь, чтобы не снесло. Ледорубом упирался в грунт чуть впереди себя справа, переносил всю тяжесть своего тела — и тяжесть деда тоже — на ледоруб, делал шаг правой ногой, потом переносил левую. Вода до пояса пока не доходила. Если дойдет, может снести. А Бартанг всего метрах в ста... Брызги заплескивали до груди. Шаг. Еще шаг... На стрежне валы неслись особенно стремительно. Я глянул на них, и голова закружилась. Постоял немного, глядя на тот берег. Он, казалось, тоже плыл, только в противоположную сторону. Привел в порядок свой вестибулярный аппарат, уравнился, сделал шаг дальше. Потом еще... Иногда нога становилась на гладкий горб валуна, и тогда я искал опоры пониже, а то с валуна могло снести. Еще шаг. Другой...

На стрежне удерживаться стало и вовсе трудно. Пожалуй, если бы не старик с его добавочным весом, могло и снести. Вода доходила почти до пояса. Сделав очередной шаг левой, я почувствовал вдруг, что не могу сдвинуть с места правую ногу. Ботинок крепко застрял. Сильно рвать ногу я не решался: можно было с размаху рухнуть в воду. Старался высвободить ногу, слегка ее покручивая. Никакого впечатления. Ботинок как врос в грунт. Наверное, его заклинило между валунами. А тут в левой ноге дернула судорога. Этого только не хватало! Я чувствовал, что сейчас не удержусь, рухну. Будь я один, я бы сумел нагнуться, срезать шнурки с ботинка и вынуть ногу. Но с дедом на спине о таком маневре нечего было и думать. Я и так еле стоял. Лямки врезались в плечи, и я подумал было, что, если они под тяжестью деда лопнут, пропал мой гербарный сбор. И тут я услышал, что дед говорит что-то мне в ухо. За ревом воды я ничего не понял, но увидел, что старик протягивает вперед свою палку. Я мигом сообразил:

схватил палку левой рукой, упер ее в дно, рванул ногу, ботинок выскочил, что-то больно оцарапало правую ногу, но я не упал, перенес вес на палку. Шаг. Еще шаг. За стрежнем стало легче. Даже судорога прошла.

Последние шаги к берегу я делал уже быстрее. Выбрался на берег, сгрузил с себя деда. Он был сухонький, как только что перепеленатый младенец. Я же с трудом переводил дыхание. Сел. Хотел проверить, целы ли документы в сумке, открыл ее. Сверху лежали часы. Было без одиннадцати пять. Переправа заняла всего четыре минуты... Не может быть! Наверное, часы сломались.

Все оказалось в порядке, если не считать, что правая нога была глубоко расцарапана чем-то острым. Растер ноги сухими джурабами до ломоты. Ботинки между тем подсохли. Оделся, обулся, перевел дух. Старик развязал узелок и развернул передо мной угощение: грецкие орехи вперемешку с сухим тутовником. Очень вкусно. Дед улыбался беззубым ртом, что-то говорил. Я понял только «хорошо» и что я «офарин» — молодец. Еще бы не молодец...

К вечеру я сверил часы по радио. Они были совершенно точны. Значит, переправа действительно заняла всего четыре минуты. Оказывается, жизнь такая длинная! Почему же она кажется короткой?

## ***УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ***

Свобода научного творчества — это возможность делать при исследовании все что угодно... в рамках программы и сметы. Чем меньше программа и чем больше смета, тем полнее эта свобода. В идеале, следовательно, полная свобода научного творчества должна выражаться в неограниченном финансировании любого поиска, какой в голову придет. Этот идеал остается неосуществимой мечтой любого ученого. На практике все происходит как раз наоборот: программа перегружена и четко сформулирована, а средств на ее выполнение всегда хочется получить больше, чем дают. Не удивительно поэтому, что на праздный вопрос: «На что бы ты истратил свалившийся на голову миллион?» — я отвечал, что на девятьсот девяносто тысяч организовал бы грандиозную экспедицию с многотомным изданием ее трудов, а про оставшиеся десять тысяч надо еще подумать. Впрочем,

вопрос-то праздный. Моя смета основательно не дотягивала до миллиона. Даже до десяти тысяч не дотягивала. Правда, программу я всегда составлял сам и мог гордиться хотя бы половиной недостижимого идеала. И вот случилось однажды так, что на горизонте забрезжила и вторая его половина...

Началось все с покорения Джомолунгмы. Во время этой гималайской экспедиции вспомнили о диком снежном человеке. Тема эта для журналистов неисчерпаемая, и западная пресса, естественно, не преминула уделить «сноумену» внимание. Даже серию специальных экспедиций организовали. Тогда один ленинградский доцент-лингвист дал интервью «Комсомольской правде» и сказал, что и нам следовало бы организовать большую экспедицию в необитаемые горные районы, где снежного человека просто не может не быть. Например, на Памир. Этого доцента никто из нас не знал, и к интервью мы отнеслись как к веселому розыгрышу. И вдруг наш коллега Кирилл Владимирович Станюкович опубликовал в научном журнале статью, в которой рассказал о распространенных на Памире легендах о снежном человеке, и намекнул: надо, мол, это все проверить. А тут еще подбавил жару московский профессор-историк, никогда на Памире не бывавший и убежденный, наверное, что Памир необитаем. Он добился организации при Академии наук особой комиссии, которая должна была этот вопрос решить раз и навсегда, по возможности положительно. Короче говоря, была создана мощная памирская экспедиция для поисков сноумена. Кирилла Владимировича назначили начальником, профессора-историка — научным консультантом. На экспедицию выделили хоть и не миллион рублей, но все же так много, что у нас дух захватило: вот это размах!

Но деньги деньгами, а нужны и люди. Энтузиастов нашлось много. Станюкович кого утверждал, а кого и отклонял. Мне он предложил участвовать в этом предприятии, обещая щедрое финансирование геоботанических исследований внутренних районов Памира. Поскольку я работал в другой «епархии», прежде чем соглашаться, нужно было испросить разрешение у моего непосредственного начальства, то есть у Гурского. Когда я изложил ему суть дела, Гурский буркнул:

— Не стоит!

Я спросил, почему, собственно, он запрещает мне это перспективное дело.

— Друг мой, — сказал Гурский, — я не запрещаю, я просто не советую. Вы верите в сноумена?

— Нет, конечно. Но ведь деньги даются для геоботанических работ.

— Это Станюкович дает вам средства для геоботаники. А ему их дали для поисков сноумена или как его там. А сноумена не найдут, это вы знаете. Экспедиция кончится неудачей. Так стоит ли участвовать в заведомо обреченном на неудачу предприятии? Да еще не веря в главную его цель? Нет, друг мой, я определенно не рекомендую вам связываться в это дело. Репутация нашего учреждения... словом, сами решайте.

...Экспедиция Станюковича развернула работу всерьез. Отряды направились на Пшарт, Сарез, Билянд-Киик и в другие труднодоступные районы Памира. А я продолжал бродить по горам или один, или в скудном сопровождении одного-двух рабочих. Такой патриархальный стиль имел, конечно, свои преимущества: думалось спокойно и независимо. Но я частенько вспоминал о возможностях той экспедиции и вздыхал.

Когда я возвратился в ботанический сад, Гурский предложил мне съездить на Восточный Памир, чтобы собрать семена для посева в саду. Я поехал.

...Чечекты, небольшой поселок Памирской биостанции, узнать было трудно. Я знал там всех, но на этот раз то и дело сталкивался нос к носу с незнакомыми людьми. По поселку ходили разодетые в немыслимо красивые свитеры не менее ослепительные девушки, фотографировавшие друг друга на фоне гор. Тут же бегали какие-то парни в ярких пуховых куртках, толпились вокруг подстреленного сурка интеллигентного вида люди, пылили чуть ли не табуны коней, сигналили машины...

Станюковича я не застал. Мне сказали, что он на Пшарте, но должен вот-вот приехать. Зато на месте был московский профессор, научный консультант. Он обучался верховой езде: четверо держали лошадь, пятый подсаживал его в седло, а еще несколько человек почтительно давали полезные советы. Услышав, что со мной поздоровался кто-то из старых чечектинцев, профессор с видимым

облегчением оставил попытки джигитовки, представился мне и стал расспрашивать, не слышал ли я чего-нибудь от местных жителей о снежном человеке. При нем была девушка-секретарь, стенографировавшая беседу. Перед таким антуражем я оробел, но стал что-то рассказывать, пытаюсь прикрыть рукой лоскут драной штормовки. После беседы профессор пригласил меня на предстоящее после обеда производственное совещание.

Во всей этой колготе я с трудом разыскал нужных мне сотрудников биостанции. Они забились в лаборатории и со страхом поглядывали в окна на разгул экспедиционной стихии. После обеда я заглянул на производственное совещание. Незнакомый парень солидно докладывал, что на высоте пяти тысяч метров в массиве Бакчигир обнаружены на снегу обтаявшие следы двуногого существа. Размер следов примерно сорок второй. Следы шли так-то и так-то... Профессор слушал, секретарь писала, все молчали, а я рассеянно оглядывал незнакомую публику. Постепенно в речи парня до меня стало доходить что-то знакомое. Я спросил, когда все это было со следами на Бакчигире? Парень назвал дату. Я опять спросил, не обходили ли эти следы сланцевый жандарм с юга? Парень подтвердил, что да, обходили. Я вытащил пикетажку и показал, что за неделю до них я ходил там, что двуное существо — это я сам. Раздался хохот. Профессор недовольно нахмурился. Взяв мою пикетажку, он полистал ее, вздохнул и заключил, что доложенный парнем материал научного интереса не представляет. Чтобы не мешать и дальше работе совещания, я ушел по своим делам с ощущением какой-то несолидности всего происходящего.

К вечеру приехал Станюкович. Глаза у него были красные, воспаленные, он чуть ли не валился от усталости. Пока он умывался, я рассказал ему о совещании. Кирилл покосился в ту сторону, где жил московский профессор, и пошевелил губами. По-моему, я понял, что именно сказал Кирилл, но полной уверенности у меня нет, и я не решаюсь дать точный перевод.

...Через три дня я вернулся в ботанический сад. О подробностях Гурскому докладывать не стал, сказал только, что Кирилл очень устал. Добавил, что снежного человека пока не нашли, хотя некоторые факты, полученные на Бакчигире, любопытны. Гурский хмыкнул и дальше расспрашивать не стал.

...Прошли годы. О снежном человеке как-то забылось. Зато экспедиция как бы между делом положила на геоботаническую карту труднодоступные районы Памира. Археологи экспедиции открыли редкие наскальные росписи. Востоковеды экспедиции собрали обширный фольклорный материал. Все это стало достоянием науки. Станюкович вынужден был оправдывать включение всех этих работ в программу экспедиции: московский профессор считал все работы, не относящиеся непосредственно к поискам сноумена, никчемной тратой средств. Кирилл стоял на своем. Академия его поддержала. Дело было сделано, хотя Станюковичу пришлось немало пережить: ведь сноумена-то так и не нашли. Гурский тогда сказал мне:

— Ну что, друг мой, разве не прав я был, отсоветовав вам участвовать в этой экспедиции?

Я не знал, что ответить, и пожимал плечами. А сейчас знаю. Конечно, повод для экспедиции вроде был не совсем серьезный. Но под этот повод были обследованы глубинные районы Памира, получены уникальные материалы, и вклад экспедиции в науку сейчас сомнения ни у кого не вызывает. В ней ведь участвовали и серьезные исследователи.

А я не участвовал. А мог бы...

## ***МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ НАДО?***

Беда случилась к вечеру. То ли я оступился, то ли камень повернулся под ногой, но тяжелый рюкзак мигом оказался на затылке. Резкая боль дернула от правой ноги в мозг. В глазах поплыли черные мухи. Руки оказались под острыми гранями каменных обломков. Я не сразу заметил, что кожа с рук ободрана. Первая мысль была прямолинейна: «Нога сломана, место необитаемое, до ближайших людей не меньше двадцати километров, еды максимум на двое суток — не дойти, значит...» Потом эта мысль была смотана в тугой клубок и запрятана поглубже. Это был запрещенный образ мыслей. Надо было сначала что-то делать, а уж потом думать. Желательно в другом ключе.

Пошевелиться было страшно. Малейшее движение усиливало боль. Но лежать, прижавшись щекой к холодному камню, нельзя бесконечно: рано или поздно нужно было вставать. Я вынул из-под



камня руку и освободился от лямки рюкзака. Свалив его, почувствовал, что нога болит уже не так остро. Попробовал пошевелить больной ногой, но ступня оказалась зажатой между каменными обломками, каждый весом по пуду. В конце концов я высвободил ногу. Темляк оказался на руке, и я смог опереться на ледоруб. Чтобы выяснить перспективу, нужно было поставить диагноз. Собравшись с духом, я рывком встал на ноги. По вискам потекли капли пота, но нога стояла. Кость, стало быть, цела.

Минут через двадцать я освоился. С трудом закинув за спину рюкзак, пошел. Скорость не превышала ста метров в час, но это был все-таки ход. Сейчас важнее всего было найти место для ночлега, пока не стемнело совсем. Таким местом оказался кочкарник, поросший кобрезиями. Не ахти какое место, но это лучше, чем камни морены. Расстелив пластик, устроил ложе. С трудом стянул сапог. Оглядел ногу. Ниже колена кожа была содрана, и нога приобрела сочный фиолетовый тон. Ступней можно было шевелить, но с болью. Поставил диагноз: сильный ушиб, возможно, с трещиной в кости, и растяжение голеностопных сухожилий. Поймал себя на том, что обсуждаю диагноз вслух. При мысли о еде мутило. Тянуло холодным ветром. Я взмок от боли и усилий и теперь на ветру стучал зубами. Втиснулся в мешок, прикрылся от ветра краем пластика и попытался согреться.

Перед самым носом рос пушистый эдельвейс, втиснувшийся между круглыми стеблями кобрезий. В сумерках казалось, что эдельвейс сочувственно качает головой. Подумалось, что и эдельвейсу, и кобрезии здесь хорошо: они кровные высокогорцы, они у себя дома. А мне вот плохо: для меня высокогорье оказалось чуждой стихией, почти враждебной. Как-никак, эволюция человека совершалась не в горах, а во впадинах планеты.

После этого почти горячего эколого-эволюционного экскурса стал восстанавливать события дня. Во всем была виновата карта. Там, где на ней значилось озеро, находился широкий трог, устланный плоскими камнями, как мостовая. Между камнями текла прозрачная вода. Озер за день я прошел уже много и решил было, что миновал указанное на карте озеро раньше и нахожусь близко к спуску в долину Чандыма. Поэтому не спешил и, когда в недобрый час сорвался в холодный ледниковый поток, выкроил добрых два часа на сушку мешка и остатков продовольствия. Когда я потом еще раз сверился с

картой, то убедился, что недостающее озеро все же нанесено на карту именно на месте трога. Скорее всего карту составляли по материалам летней аэрофотосъемки. Тогда полая вода временно залила трог тонким слоем, и на карте нарисовали озеро. А его не было. И находился я совсем не там, где предполагал, а значительно дальше от спуска. Потраченные на сушку два часа грозили холодной ночевкой. Я заспешил, и вот, извольте ли видеть, все равно холодная ночевка, к тому же с поврежденной ногой. Купание нанесло ущерб припасам. Сахар размок, и его пришлось выбросить, чтобы патока не заливала вещи. Сухари тоже размокли. Часть их я съел сразу же. Осталось всего три слегка подмокших. Но хуже всего, что полностью погибло курице, а курить хотелось мучительно. Сохранились пачка чая и коробка спичек. Всего этого дня на два должно хватить. А там посмотрим.

До утра я несколько раз забывался, но холод снова возвращал мысли к итогам похода. Задуман он был хорошо. Начался тоже отлично. По Багывдаре мой рюкзак забросили чабаны на попутном ишаке, и я налегке с работой выбрался за день к летовке, расположенной у самого края «озерного плато» в Шугнанском хребте. Верховья пяти рек дренировали хребет с двух сторон, и в пригребневой части образовалось выположенное пространство с ледниковым рельефом и массой озер. Что-то вроде плато площадью в сотню квадратных километров. Все это на высоте 3800–4400 метров. Западному Памиру такие нагорные ландшафты не свойственны. Тем интереснее было изучить этот клочок Восточного Памира, нависший почти над Хорогом. С утра я начал подъем с 3600 метров, от летовки, где ночевал и был сытно и вкусно накормлен. По замыслу за день я должен был миновать плоский перевал, пройти мимо всех озер и спуститься к летовкам Чандыма. Поэтому и запасы взял с собой скромные. Полтора десятка описаний и гербарий были в положительном балансе. Растительность «плато» оказалась очень интересной. Здесь смешивались элементы западных гор, степей, восточных кобрезников и подушечников и общего для запада и востока криофильного разнотравья. Это все разные типы растительности. Вопреки известным строкам Киплинга: «...Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут» — здесь запад и восток сошлись вместе. Каждое растительное сообщество размещалось на участках, отвечавших «запросам» либо переднеазиатских, либо

центральноазиатских растений. Настоящая мозаика. Решив, что сюда надо приходить с отрядом и работать основательно, я спешил вниз. И доспешился.

Утром, вскипятив на малюсеньком примусе чай и съев два сухаря, я тронулся в скорбный путь. Нога распухла. Каждый шаг отдавался болью. Но постепенно я разошелся и кое-как хромал между камнями или кочками кобрезий. Путь шел почти на одной высоте. Спуск не ощущался. Когда я добрался до озера Хцумец, был уже полдень. На берегу паслись кони. Обрадовался, что люди близко. Попытался поймать лошадь, чтобы ехать на ней верхом, но лошади не давались. Они легко отскакивали в сторону, ждали, пока я дохромаю до них, и снова отскакивали. Я разозлился и почувствовал голод. Съел последний сухарь, но аппетит оставался зверским. Больше, чем есть, хотелось курить. Еще более непреодолимым было желание лечь на спину и полежать в тепле. Но было холодно, голодно и тоскливо.

Потом была еще одна холодная ночевка. Наутро спуск стал крутым, но я еле передвигал ноги. К полудню встретил двух парней, гнавших завьюченного ишака вверх. Увидев меня, парни опешили. Я попросил у них поесть, но они сначала проверили мои документы и только потом дали мне лепешку и «крут» — сухой сыр, твердый, как камень. Мигом съев все это, я попросил закурить. Но ребята были некурящие. Они шли на летовку Ой-Куль. Это в трех километрах отсюда. А завтра они идут вниз. Туда идти далеко еще, и я решил не отставать от своих спасителей. Часа через три мы добрались до этой летовки, сделав небольшой подъем. Мой рюкзак парни понесли сами.

На этот раз ночлег был веселее. Я был накормлен до отвала, но мерз и до головокружения хотел курить.

Утром меня усадили на ишака, рюкзак кинул за спину один из парней, и мы двинулись вниз, к Шахдаре. Нога ныла, но я уже привык к этому. Солнце пригрело, но без курева было скучно.

К вечеру добрались до кишлака Заноч. Там жил один из моих спасителей. Магазин был уже закрыт, но мой друг уговорил завмага продать нам несколько пачек сигарет. Они были старые, плесневелые, но это было курево! Лежа на крыше кибитки, где ветерок и меньше moskitov, я с наслаждением курил. Было тепло, я был сыт и дымил сигаретой. Но лежать было жестко, ныли намаявшиеся на камнях бока, и не было партнера для дискуссии.

На следующий день к полудню пришла колхозная машина. Меня отвезли в больницу райцентра. Здесь было сытно, табачно, спать было мягко и тепло. На столбе громыхало ведро репродуктора. Были и газеты. Но болела нога, покусывали москиты, а тоска по дому и друзьям стала особенно острой.

Еще через два дня я приехал в Хорог, а через неделю улетел домой в Душанбе. Ногу подлечили. К моим услугам все блага цивилизации. И друзья. И библиотеки. И гербарий. И коллеги-собеседники. Но... через месяц такой жизни стала одолевать тоска. Ночами снились горы. И я знал, что тоска не пройдет до тех пор, пока я снова не окажусь в высокогорье. Всего лишь. Ну много ли человеку надо? Ох, много!



# ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ...



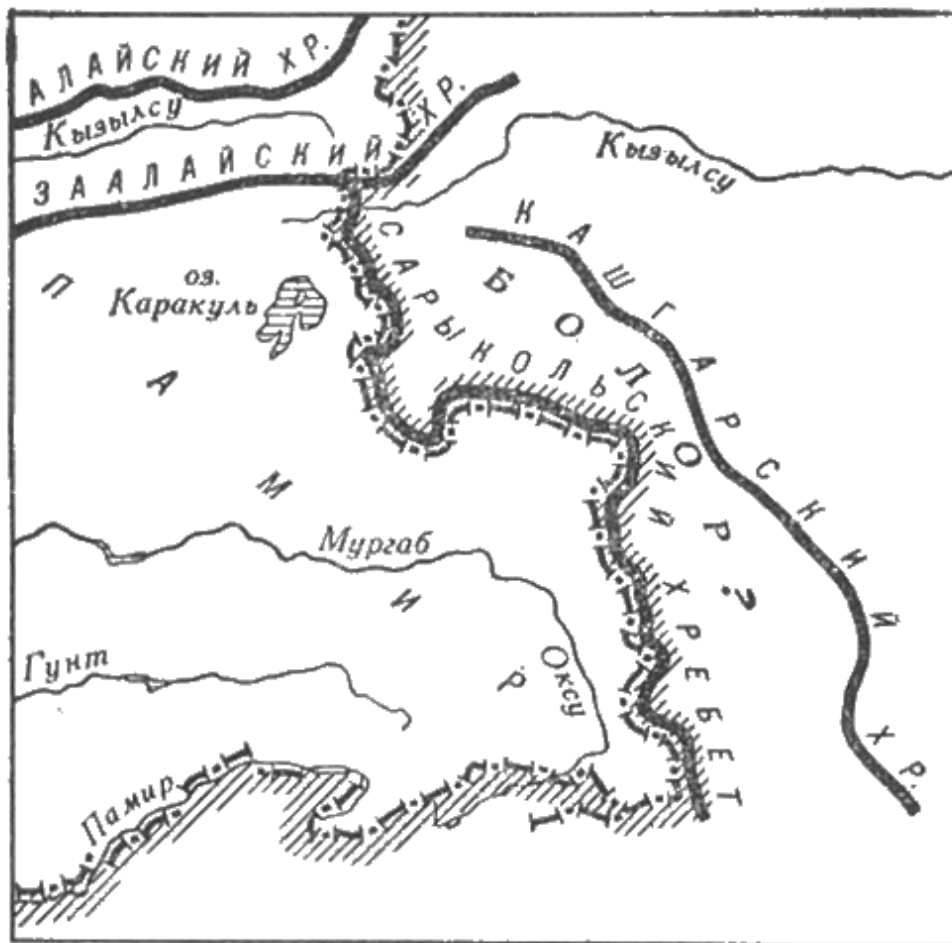
## *ЗАГАДОЧНЫЙ БОЛОР*

Мы ехали к Болору. На современных картах такого названия нет. Но на картах середины прошлого столетия как раз здесь, на месте Восточного Памира, фигурировал огромный меридиональный хребет Болор. На карту его нанесли на основании трудов не кого-нибудь, а самого Александра Гумбольдта — великого естествоиспытателя и путешественника, властителя дум географов прошлого века, автора книг, определивших уровень географии того времени. Гумбольдт рассудил, что сухость Центральной Азии может быть объяснена только каким-нибудь горным препятствием, мешающим циклонам проникать в ее пределы. А поскольку циклоны идут с запада на восток, логичнее всего было представить себе препятствие в виде горной цепи, вытянутой с севера на юг. Меридиональный хребет Болор Гумбольдт считал объектом предположительным. Сведений об этой части Азии тогда было очень мало. Изучив распределение осадков, Гумбольдт

посчитал, что Болора здесь просто не может не быть. Авторитет Гумбольдта, вполне заслуженный, был непререкаем. То, что Гумбольдт считал лишь гипотезой, другие посчитали доказанным фактом. Болор появился на картах Азии. Такой же меридиональный хребет был на карте Клавдия Птолемея, составленной во II веке. Название хребта Гумбольдт заимствовал у древних авторов, в частности и у Марко Поло, упомянувшего страну «Болор» сразу вслед за описанием «Памирской выси».

Постепенно знания о глубинной Азии пополнялись. Лучше становились и карты. Первые сомнения в существовании хребта Болор появились после того, как А. П. Федченко в 1871 году добрался до Алайской долины и увидел перед собой грандиозную цепь на том месте, где должен быть Болор. Хребет был назван Заалайским. Он вытянут с запада на восток. Болор же предполагался как строго меридиональный хребет. Никаких следов меридиональных структур А. П. Федченко там не обнаружил, о чем и сообщил в научной печати. Тогда сторонники Гумбольдта отнесли Болор южнее. Но и там его не нашли ни Грум-Гржимайло, ни Громбчевский, ни другие исследователи, составлявшие карту этой части Азии. Хребты и Тянь-Шаня, и Памиро-Алая протягиваются широтно, и равных им по масштабам меридиональных хребтов не обнаруживалось. Из факта, в котором никто не сомневался, Болор превратился в фикцию, в ошибку великого географа. На смену решетчатой структуре гор Центральной Азии, так убедительно, казалось бы, обоснованной Гумбольдтом, пришло полное отрицание меридиональных структур в строении горных систем Средней Азии. Возобладала широтная концепция. Даже явным меридиональным поднятиям Кашгарского, Сарыкольского и других хребтов перестали придавать значение. А когда была открыта тектоническая зональность, идея Болора была и вовсе похоронена. Оперировать ею в географии считалось столь же анахроничным, как теорией флогистона в химии. Тектонические зоны, отделенные друг от друга глубинными разломами, пересекали Памир с запада на восток. Одна зона уходила на запад, в тектонические структуры Ирана, другая на восток, в Куньлунь, третья смыкалась со сходными структурами Каракорума. В этой схеме не было места меридиональным хребтам, которые пересекали бы тектонические зоны поперек.

Между тем карта горной Средней Азии становилась все точнее. На ней отчетливо выделялись не только широтные, но и меридиональные хребты, реально существовавшие вопреки всем схемам. Самый высокий из них в пределах нашей страны — хребет Академии Наук с высочайшей вершиной Советского Союза пиком Коммунизма (7495 метров). С запада Памир тоже ограничивается меридиональным поднятием хребта Кохи-Ляль в северо-восточной части Афганистана. Высота этого хребта превышает пять километров. И с востока Памир окаймлен меридиональными хребтами — Сарыкольским и Кашгарским. Высоты этого последнего хребта, расположенного в Китае, превышают 7770 метров, а протяженность с севера на юг — сотни километров. Это уже не мелочь, на которую можно не обращать внимания! Более того, на них обратили особое внимание именно потому, что эти хребты простираются поперек тектонических зон. Это требовало объяснения.



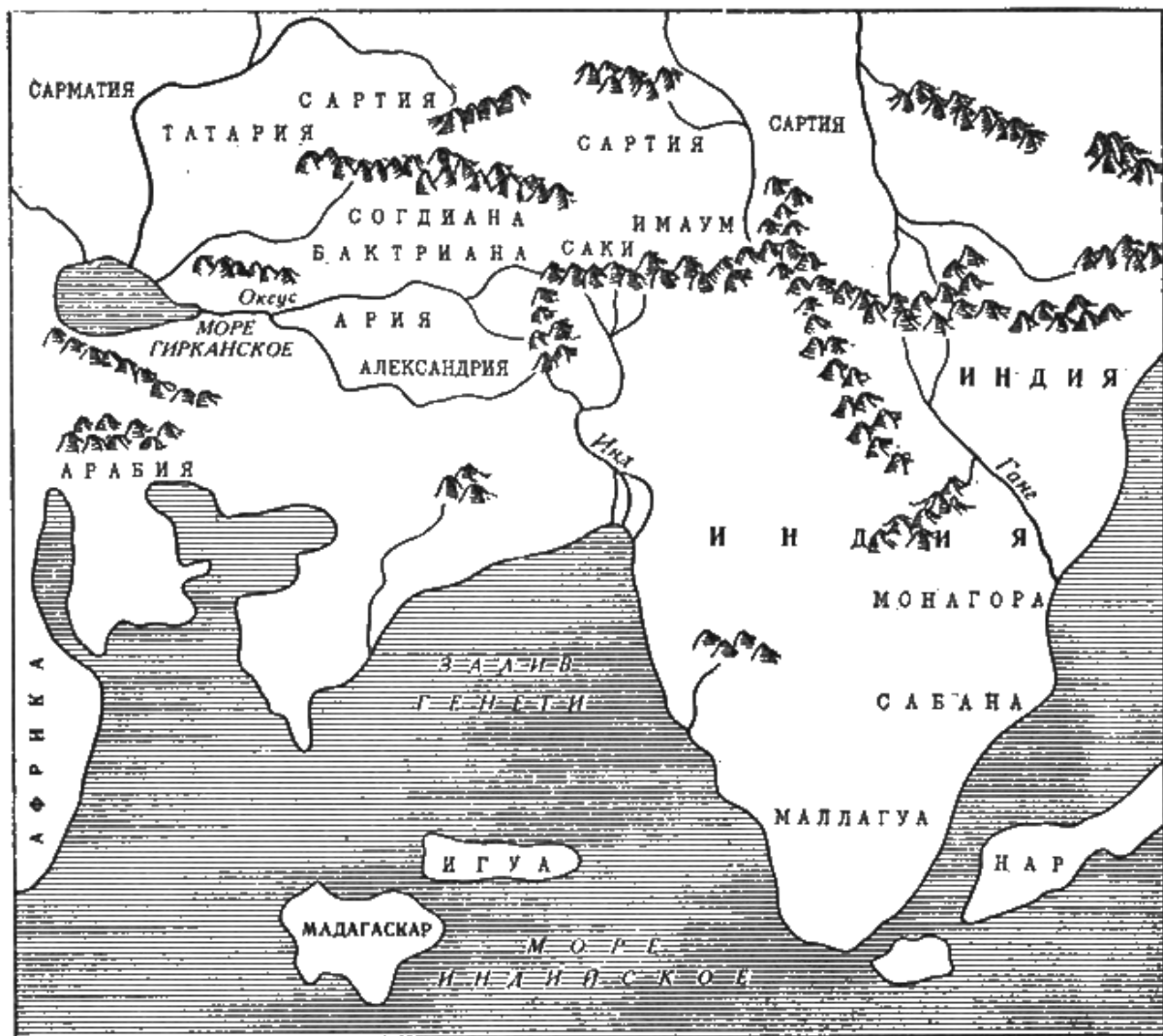
Какие только гипотезы не строились! Предполагали, например, что меридиональные хребты сформировались без участия тектоники: просто реки, стекая на запад и восток, лепили своей эрозией необычную меридиональную скульптуру. Но некоторые меридиональные хребты столь грандиозны, что одной речной эрозии было явно недостаточно для объяснения их существования.

Тем временем обратили внимание на некоторые любопытные совпадения. Например, на то, что наиболее крупные вершины часто расположены строго к северу или к югу от меридиональных хребтов: к северу от меридионального хребта Академии Наук — пик Коммунизма, а южнее этого хребта — мощные пики Патхор, Скалистый, Карла Маркса; к северу от меридионального хребта Зулумарт — пик Ленина, а южнее хребта — пики Советских Офицеров, Снежная Глыба и так далее. Эта меридиональная закономерность прослеживалась и за рубежами страны — в Гималаях, на Шри Ланка... Получалось, что вытянутые широтно хребты Азии имеют как бы изломы, волны, причем всплески этих волн по меридиану совпадают. Выяснилось, что эти изгибы складок геологически молоды. Некоторые меридиональные поднятия образовались всего-навсего за последний миллион лет.

Кое-что прояснилось, но возникали новые загадки. Разгадывая их, вспомнили о Болоре. Так ли уж он фантастичен? А может быть, это Кашгарский хребет является гумбольдтовым Болором? Или Сарыкольский? Или вся совокупность новейших меридиональных поднятий? Ведь эти поднятия в сумме представляют собой серьезное препятствие для циклонов. Восточнее хребта Кохи-Ляль, например, сумма годовых осадков падает втрое, восточнее Кашгарского хребта — еще раз втрое, а восточнее хребта Академии Наук — раз в двадцать. Это ли не препятствие? Да и не обязательно препятствию быть в виде сплошной стены. Атмосферные фронты перед горами — это ведь тоже препятствие для циклонов. Словом, наука вернулась к идее Гумбольдта, но на совершенно новой фактической основе. Неважно, что самого Болора не оказалось в природе. Выявилась сумма препятствий, задерживающих идущую с запада влагу не хуже предполагаемого Болора. Ошибка великого географа выросла в величественную проблему.

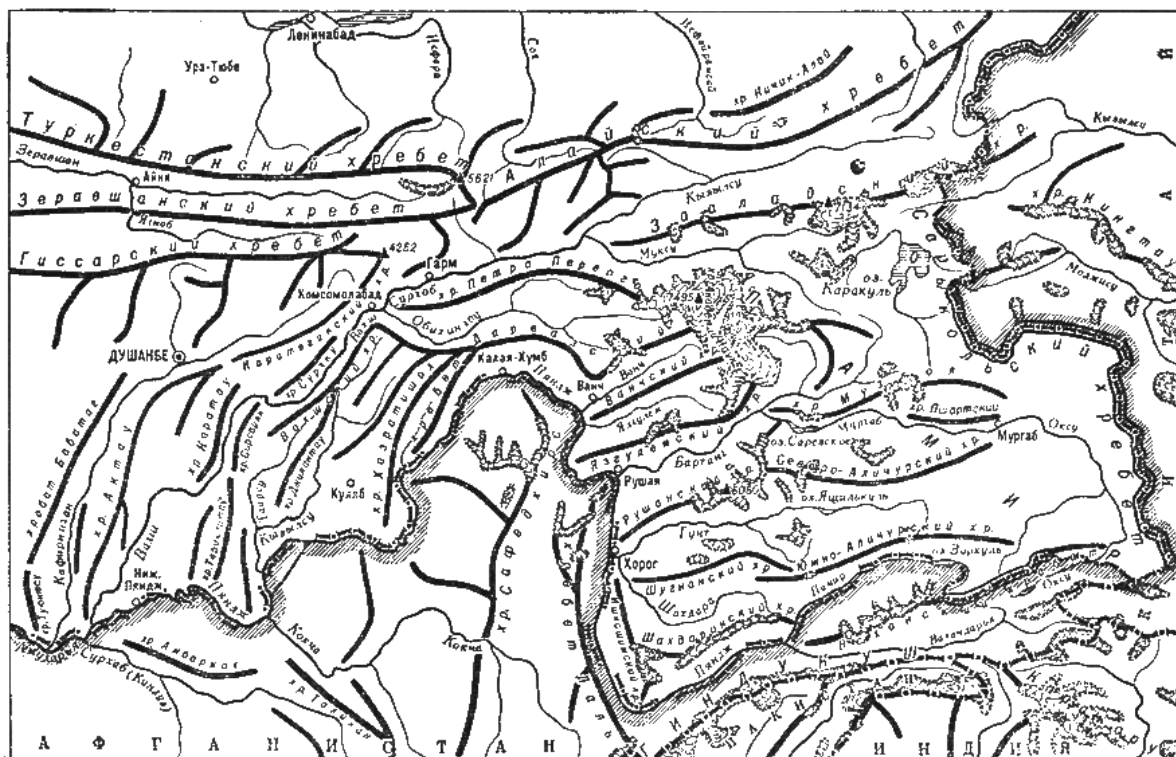


...Машина буксует в песках. Это мы пробиваемся к западному склону Сарыкольского хребта — одного из «Болоров». К западу от любого меридионального хребта можно ожидать много интересного. Здесь может быть больше осадков. К югу от того места, где мы сейчас буксуем, так и есть: в юго-восточном «углу» Памира осадков почти вдвое больше, чем на севере нагорья. Перед меридиональным хребтом неминуемо меняется ветровой режим. Пески, в которых вязнет машина, — как раз следствие этого особого режима. На западных склонах Сарыкольского хребта встречаются касатиковые степи, грядовые пески, а южнее, где более влажно, — настоящие типчаковые степи, даже единичные кустарники. После голых высокогорных пустынь нагорья все это воспринимается как оазис. По поводу этого оазиса в юго-восточной части Памира тоже много споров. Некоторые ботаники считают этот участок рефугиумом, убежищем, в котором пережили трудные времена оледенений влаголюбивые (по сравнению с пустынными) степные травы и теплолюбивые кустарники. На этот раз меня сюда пригнали сомнения: так ли это? Ведь с юго-восточного Памира на запад стекают такие крупные реки, как Аксу-Мургаб-Бартанг (это одна река под тремя названиями на разных отрезках) или Вахандарья и Памир. Эти реки дренируют территорию, исключают ее изоляцию, их долины служат путями для всевозможных миграций. Какой же это тогда рефугиум, если он не изолирован? Всю прошедшую зиму я сопоставлял ареалы господствующих в долине Аксу-Мургаба-Бартанга видов растений, и получилось, что некоторые из этих видов встречаются по долине снизу доверху, как бы подчеркивая отсутствие изоляции.



Сейчас я должен разобраться на месте. Если какое-то положение обосновано недостаточно, опровергнуть его можно только абсолютно достоверными фактами. За ними мы сюда и приехали. Ужас, как много времени и сил отнимают скороспелые гипотезы! Но путь к истине сложен. Порой он идет по ступенькам, ведущим вниз. Или вбок. Во всяком случае, в сторону. Вверх-то всегда труднее. Но одна истина уже добыта: западнее меридиональных хребтов в Средней Азии не может не быть интересных находок, явлений, фактов. В этом я убеждался и на подходе к хребту Академии Наук, и в афганском Бадахшане — на склонах Кохи-Ляля, и в других местах. Что-то интересное обнаружится и здесь, в загадочном «Болоре» — Сарыколе. А может быть, он в другом месте, Болор?

Снова из кузова вытаскиваются доски. Их мы подкладываем под баллоны, когда они уж вовсе зарываются в песок. Раз-два, взяли! Мотор ревет, машина поднимает фонтаны песка и выползает на сравнительно плотный грунт. Доски закидываются в кузов до следующей буксовки. За гребнем Сарыкола видна белая шапка Конгура, одной из высочайших вершин Азии. Почти под восемь тысяч метров вознесла она свою белую голову. Она в меридиональном Кашгарском хребте, мощном, величественном. Ну чем не Болор?



Орография Памира

## ОСОКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

В Средней Азии гербарий сохнет невероятно быстро. Это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что иной раз не успеешь собранное растение запрессовать в сетку, а оно уже засохло, начинает ломаться.

А хорошо по другой причине: за лето, кстати довольно длинное, можно успеть собрать много гербария. Бывали сезоны, когда

суммарный «улов» отряда доходил до тысячи номеров. Это значит, что в гербарном журнале тысячу раз записывали названия растений и место их сбора. А под одним номером собирали иногда по несколько экземпляров. Когда осенью гербарий упаковывается в пачки, а пачки — в ящики, накапливается солидный багаж. Его везут в институт. За зиму гербарий обрабатывается. Гербарий привозят и другие отряды. Осенью институт чуть ли не по швам трещит от гербарных сборов. За шкафы и стеллажи идет борьба. К чему же столько?

Дело в том, что в горах Средней Азии растет примерно шесть тысяч видов высших растений. Это вчетверо больше, чем на такой же площади в средней полосе России. Шесть тысяч! Это научная загадка. Четвертая часть этой тьмы видов, как установлено, возникла здесь же, на месте. А остальные три четверти? Они явно пришли извне. И пришли в основном за последний миллион лет, когда выросли высокие горы. Загадка в том, что за миллион лет более четырех тысяч видов, составляющих эти три четверти флоры, не могли успеть прийти сюда поодиночке, приспособиться, занять нужную ступеньку в горах да еще сформировать сообщества. Эволюция — процесс медленный. Как же свести концы с концами? Гипотез много. Согласно одной из них, растения мигрировали в Среднюю Азию не поодиночке, а целыми сообществами, шли не одинокие путники, а целые отряды хорошо пригнанных друг к другу и к окружающей среде путников. Дорога была длинной и долгой...

...Давным-давно, примерно полмиллиона лет тому назад, когда паши предки с дубинами и копьями охотились на мамонтов, наконец-то отступил грандиозный материковый ледник. На берегах Средиземного моря тогда установился особый режим осадков: они выпадали только в холодное время года, а лето было сухим и жарким. Там и сейчас так. Все растения, не сумевшие приспособиться к этому режиму, либо вымерли, либо переселились в районы с подходящими для них условиями. А остальные приспособились. У одних выработались приспособления, помогающие пережить летнюю засуху. Вот почему в Средиземноморье так много растений с глянцевыми листьями, экономно испаряющими влагу: цитрусовые, олеандры, лавр... Другие растения попросту «ушли» от засухи. Они стали расти, цвести и плодоносить ранней влажной весной, а иногда и теплой зимой. Летом эти растения, если они однолетние, умирали, оставив

семена до будущей зимы, а если многолетние — впадали в состояние биологического покоя и пережидали летнюю засуху в своеобразной спячке. Медведи наоборот! Однолетники — это примеры, а многолетники — эфемероиды. А сообщества тех и других составляют особый тип растительности — эфемеретум.

Так вот, около полумиллиона лет назад на берегах Средиземного моря на тяжелых глинистых и лёссовых почвах жила эфемероидная осока. Теперь ее называют осокой толстостолбиковой. Зимой и весной она покрывала зеленую равнины Северной Африки и библейские холмы Палестины. Когда начиналось сухое лето, листья осоки желтели, рассыпались пылью. Но при первых же осенних дождях осока снова выбрасывала зеленые побеги. Вообще то там росла не одна эта осока. Рядом росли и другие эфемероиды: луковичный мятлик, тюльпаны, крокусы, костры, мелкопостник, вульпия. Все они жили дружно, но главенствовала осока толстостолбиковая. Ее было больше всего, и она доминировала, иначе говоря, задавала тон в сообществах: если бы осока куда-нибудь переместилась, то весь спящий «коллектив» пошел бы за ней.

Тем временем средиземноморский режим осадков распространялся все дальше на восток, в пределы молодой суши, где миллионы лет назад был океан Тетис, а теперь росли горы. Туда устремлялись зимне-весенние циклоны, и холодное время года на востоке тоже становилось влажным. Летом же давление складывалось так, что циклоны шли либо севернее, либо южнее, а Ближний Восток и Средняя Азия оставались сухими. Такой режим для нашей осоки оказался подходящим, и она действительно тронулась в путь. Из поколения в поколение осока толстостолбиковая стала распространяться на восток. А с ней пошли и все остальные виды, которым наша осока задавала тон.

Чем дальше осока заходила на восток, тем суше было лето, тем холоднее по сравнению со Средиземноморьем становилась зима. Но наша осока оказалась выносливой. Все она переносила — и холодные зимы, и летнюю жару и сушь. Единственное, чего она не переносила, — это рыхлые грунты. А по пути встречались и они. Осока толстостолбиковая обходила пески. Но часть семян попала все-таки на песок. Огромная часть этого потомства погибла: семена засохли, не проросли. Но какая-то часть нашупала под тонким слоем

песка знакомый глинистый грунт, укрепилась, выжила. За тысячелетия эти поселенцы приспособились к пескам, перекрывающим глинистые почвы. У них появились новые черты, которых не было у осоки толстостолбиковой: более длинные корни, маленькие пузырьки на плодиках, позволяющие ветру переносить семена. Следовательно, образовался уже новый вид — осока почти-вздутая. Так ее теперь называют. Она и по сей день зеленеет во влажное время года в Афганистане, на песках Бухары, на равнинах Турана. А с ней и другие виды, которые сгруппировались вокруг этой новой осоки в самостоятельные сообщества.

Какая-то часть потомства то ли осоки толстостолбиковой, то ли почти-вздутой попала на глубокие подвижные пески. Снова было много смертей, и снова у части потомства выработались новые качества, позволяющие выжить на подвижных песках: плодики вздулись еще больше, корешки шли не столько вглубь, сколько в стороны, улавливая скудную дождевую воду. Образовался еще один вид эфемероидной осоки — осока вздутая. В песчаных пустынях она до сих пор ранней весной, пока влажно, вегетирует, придавая пескам зеленоватый оттенок. И не одна, а с целой свитой других растений, тоже приспособившихся к этим пескам и сопровождающих отныне осоку вздутую везде и всюду.

А осока толстостолбиковая тем временем выбралась в предгорья, потом стала забираться в горы, по равнинам она зашла на север, в полупустыни Казахстана. Чем выше и севернее она забиралась, тем прохладнее было лето, тем позже она засыхала. Но позже и прорастала, поскольку зимы в тех краях холодные, а весна поздняя. Постепенно осока толстостолбиковая дошла до того предела, за которым режим осадков был уже другой: зима сухая и холодная, а лето чуть влажнее, но не жаркое, а просто теплое. Совсем не похоже на то, к чему наша осока привыкла. Но и там часть потомства осоки толстостолбиковой выжила. Правда, для этого снова пришлось измениться настолько, чтобы приспособиться к новому климату. И она изменилась. Возникла осока узколистовидная. У нее появилось мощное корневище с запасом воды и питательных веществ, а листочки свернулись в жгутики, экономя влагу. При таком устройстве можно уже было привыкать к постоянной сухости. Грунты были этой осоке безразличны, и она забрела далеко — на высокие нагорья, в Кашгарию,

Монголию. И тоже со своей «командой», во главе целого ряда сообществ.

Прямо не осока, а оборотень: чуть условия отклоняются от первоначальной нормы, исходная осока оборачивается новым видом, приспособленным к изменившейся среде. Как в сказке, в которой людоед в зависимости от обстановки, ударившись об пол, оборачивался то львом, то мышью...

Вот так и идет дальше, расширяет ареал, завоевывает пространство, обрастает родней и попутчиками осока, формирует сообщества, а они — новый тип растительности, эфемеретум. Так сказать, эволюция на ходу. И двинулся в Среднюю Азию не один вид и не четыре вида, а четыре осоковые формации, насчитывающие десятки видов. Это только осоковых формаций мы рассмотрели четыре. А ведь этих формаций только из Средиземноморья такими же сложными путями пришли десятки. А всего — более пятисот эфемеровых и эфемероидных видов. И не только эфемероидных. Со своими сообществами-«командами» пришли оттуда в Среднюю Азию миндали, фисташки, держидерево, каркас, чилон, множество кустарников. Это еще несколько сот видов. И все из Средиземноморья. Так сказать, средиземноморский ряд миграций и эволюции. Но были и другие ряды — центральноазиатский с востока, муссонно-гималайский с юга, северный... Целый букет географических рядов видообразования, протекавшего на ходу, по пути в Среднюю Азию.

Это всего лишь гипотеза. Одна из многих. Чем больше их будет, тем скорее будет разгадана причина флористического богатства среднеазиатских гор. Хорошо бы дожить до этого: интересно ведь...

## ***ПАМИР ПОДНИМАЕТСЯ***

Если бы горы не росли, наша планета смахивала бы на бильярдный шар. Но горы растут. Переставая расти, они разрушаются. Правда, разрушаются они и тогда, когда растут, но в этом случае рост обгоняет разрушение, и тогда воздвигается горная страна. Так и с Памиром: он растет быстрее, чем разрушается. Высоты его огромны. Землетрясения свидетельствуют о продолжающемся росте. Подсчитано, что за последний миллион лет Памир поднялся на два с

половиной — три километра. Получается, что за это время горы поднимались на один сантиметр за три года. В среднем. Вполне хороший темп для геологического процесса, измеряемого миллионами лет. Все это известно.

О том, что Памир поднимается катастрофически быстро, впервые я услышал от чабана в ущелье Тосион. Овцы сгрудились на ночлег, но было еще светло. Мы пили чай и разговаривали на отвлеченные темы. Напротив пестрел полосатый склон. Извилистые тропинки пересекали его поперек. Это так называемая тропинчатость, вызванная выпасом. Скот ходит поперек склона, не теряя высоты, ходит на разных уровнях, и постепенно на склоне образуется множество поперечных светлых тропинок. Все это я знал, но было интересно, что скажет по этому поводу собеседник. Спросил. Чабан поглядел на склон, усмехнулся:

— Гора растет. Корова протопчет тропу внизу, а гора вырастет. Корова ниже еще протопчет. Потому так много троп. Внизу молодые, сверху — старые.

Я рассмеялся и подмигнул чабану, давая понять, что понимаю и цену шутке. Он тоже рассмеялся, похлопал меня по плечу, дескать, розыгрыш, сам понимаешь.

А несколько лет спустя в научном журнале появилась статья Кирилла Владимировича Станюковича. Он обращал внимание читателей на то, что современное распространение на Восточном Памире некоторых растений, не дающих семян и размножающихся вегетативно, нельзя объяснить современными условиями. Например, возле теплых источников Джарты-Гумбез на высоте 4100 метров растет тростник. Семян он не дает, размножается корневищами. А ближайшее местонахождение тростника находится в ста пятидесяти — двухстах километрах. Как же он попал туда? Кирилл Владимирович предположил, что совсем недавно на Памире было теплее, тростник рос всюду вдоль рек, но потом резко похолодало и сохранилось лишь пятнышко тростниковой заросли возле теплого источника. А поскольку резкое похолодание возможно только в результате поднятия на большую высоту, автор предположил, что Памир испытывает сейчас быстрое поднятие от низкого теплого уровня. Насколько быстрое, не указывалось. Основанием для такого вывода послужил не только тростник, но и другие растения, сокращающие свой ареал. Это не розыгрыш чабана, а научная статья, гипотеза. Без цифр, правда, но



яркая, заманчивая, отдающая сенсацией гипотеза. Вполне в стиле Станюковича, человека талантливого и веселого. Прочитав статью, я отложил ее в сторону без особых эмоций. В конце концов быстрый подъем Памира только предполагался, а с гипотезой без количественных показателей можно было пока и не считаться. Ботаники — странные люди. Чтобы объяснить распространение какой-нибудь былинки, им ничего не стоит начать двигать материка, воздвигать горы...

Но не тут-то было. Гипотезу подхватили, и статьи на ту же тему посыпались одна за другой. В одних повторялось то, что уже написал Станюкович, в других приводились и новые материалы, доказывавшие быстрый подъем Памира. Все доказательства были косвенными, по в сумме производили впечатление. В долине Маркансу на высоте четырех тысяч метров археолог Вадим Александрович Ранов раскопал стоянку древнего человека. Там были угли от костра, какие-то орудия, кости животных. Установили, что угли древесные. Возраст их определили радиоуглеродным методом. Оказалось, костер жгли девять с половиной тысяч лет назад. Удивляли два обстоятельства. Во-первых, древесные угли. Сейчас в Маркансу не только деревьев не растет, но и высокогорных пустынных растений почти нет. Это самое мертвое место на Памире. Холод и сухость, голый щебень и смерчи. И в переводе Маркансу означает «долина смерчей». Какая уж тут древесина! Но костер был. Это факт. Правда, небольшой костер, но не считаться с ним, как и с любым фактом, нельзя. Во-вторых, поражала обстановка, и которой жили тогда люди. Даже сейчас, когда у нас есть палатки, спальные мешки, теплая одежда, и то в Маркансу живет неуютно: мерзнем, губы трескаются от ветра и сухости. Каково же было тем древним охотникам? (Что это были охотники, Ранов установил точно.) Все эти несоответствия легко устранялись, если предположить, что десять тысяч лет назад Памир был ниже, следовательно, было теплее и вокруг росли леса. А поскольку верхняя граница лесов в горах этих широт находится на высоте около двух с половиной тысяч метров, а иногда доходит до трех тысяч, некоторые ученые сделали из этого вывод, что с того времени, когда древние охотники жгли на Маркансу костер, Памир поднялся на одну-полторы тысячи метров. Получалось, что Памир поднимается со скоростью десять — пятнадцать сантиметров в год, может быть, даже двадцать. В пятьдесят —

шестьдесят раз быстрее, чем в среднем за последний миллион лет. Цифра названа!

Потом прибавилась еще одна находка. На том же Восточном Памире к югу от Мургаба Ранов обнаружил в гроте цветные росписи на стенах. Рисунки древние. Неолитические. Как выяснилось, это оказалось самое высокое в мире местонахождение неолитических рисунков: четыре тысячи метров над уровнем океана. Но самое интересное — содержание рисунков. На стенах грота были нарисованы медведь, кабан и что-то вроде страуса на человеческих ногах. Ни медведя, ни кабана на холодном Памирском нагорье сейчас нет. О страусе и речи быть не может. Возник вопрос, даже два. Первый: видел ли древний художник этих зверей там, где рисовал? Если видел, то приходится признать, что в те времена здесь водились кабаны и медведи, животные в основном лесные, а значит, были леса, а следовательно... словом, опять приходим к бешеным темпам поднятия Памира. Второй вопрос: если древний художник видел этих зверей в другом месте (а ближайшее такое место в наше время отстоит от грота на двести километров) и нарисовал их здесь из соображений так называемой охотничьей магии (на рисунке видны стрелы, направленные в зверей), то мог ли так далеко кочевать по холодному нагорью едва прикрытый шкурами наш предок? Если мог, то опять получается, что Памир в те времена был ниже, теплее и лесистее.

Дальше больше. Уже другие археологи обнаружили на нагорье древние могилы, перекрытые бревнами. Возраст могил — от двух до четырех тысяч лет. Откуда же бревна? Выходит, леса росли здесь совсем недавно? А раз так, то Памир поднялся на километр-полтора не за десять, а за четыре тысячи лет, то есть скорость подъема достигает двадцати пяти — тридцати семи сантиметров в год? Именно такой вывод и был сделан.

Становилось как-то неуютно. Такой быстрый подъем никак не согласовывался со многими вполне установленными фактами. Например, если горы растут так стремительно, реки должны врезаться в свое ложе с соизмеримой скоростью, то есть тоже очень быстро. Тогда уровень грунтовых вод на луговых террасах Западного Памира (а он поднимается вместе с Восточным) резко понижается, и луга должны погибнуть за какие-нибудь сто лет. Но они, эти луга, существуют многие сотни лет, это доказано документально. Например,

Марко Поло видел их в XIII веке. Это первое противоречие. Если Памир стал высокогорным всего за десять тысяч лет, а то и за четыре тысячи, то как объяснить, что сотни видов растений так тонко приспособились к высокогорным условиям? Ведь такого короткого срока для эволюции очень мало, нужны сотни, на худой конец десятки тысяч лет, а не тысячи. Это второе противоречие. Было и третье, и десятое, хотя хватило бы и этих двух.

Тем временем гипотеза приобретала популярность. Сенсация! За нее ухватились журналисты. На страницах газет и научно-популярных журналов запестрели статьи под интригующими заголовками. Во многих статьях гипотеза подавалась как нечто абсолютно доказанное. Знакомые спрашивали меня, как я себя чувствую на поднимающемся, как лифт, Памире. Мои уверенные ответы о самочувствии и очень осторожные о подъеме Памира никого из знакомых не удовлетворяли: все жаждали сенсации. А я сидел над книгами, бродил по горам, рылся в архивах, проверял публикуемые факты, сопоставлял их между собой, словом, работал.

Надо признаться, что вопрос о темпах поднятия гор вызывал у меня далеко не праздный интерес. От решения его зависело очень многое: темпы эволюции высокогорной растительности, возраст многих растительных сообществ, судьба лугов и пойменных лесов, будущее горного земледелия. Речь шла обо всем толковании природы этой горной страны. Мне лично гипотеза быстрого подъема Памира не мешала, она просто не согласовывалась с общеизвестными фактами.

Я опубликовал свои несогласия с гипотезой, обратил внимание на всяческие несоответствия. Началась дискуссия. Меня поддержали геологи, геоморфологи и палеоботаники. Против выступил мой друг Ранов, а также некоторые ботаники и зоологи. Статьи появлялись одна за другой. Обе спорящие стороны собирали в свой арсенал все новые факты. После очередной порции статей полемизирующие стороны, притомившись, начинали искать контраргументы. Потом снова порция публикаций.

В споре, как известно, должна родиться истина. Сложная это пещь — научный спор. Научным он становится только при строгих правилах: обе стороны ищут истину, не поддаются азарту в ущерб фактам, придерживаются логики и уважают мнение «противника». Иначе это уже не научная полемика, а перебранка, которая до истины

не доведет. И хотя правила в полемике строгие, не обойтись в ней без эмоций, без страстей. Равнодушному истина не дается. Хладнокровному — да, но не равнодушному. Часто, получив очередную порцию аргументов другой стороны, испытываешь удивление: «Ну как же можно не видеть очевидного?» Потом, с холодной уже головой сообразив, что «противник» не обязан смотреть на вещи твоими глазами, принимаешься за анализ доводов. И нет в этом споре ни родных, ни близких. Вот, например, Вадим Александрович Ранов. Он мой давний и близкий друг. И одновременно противник в научном споре.

...Ранов — археолог. Специалист по каменному веку. Блестящий знаток четвертичной геологии. Поэтому Ранов — везучий археолог. Он знает, где копать. Это очень серьезный, глубокий и разносторонний исследователь, отличный полевик. Вполне понятно поэтому, что к выступлению Ранова на стороне «противника» следовало отнестись серьезно, хотя вовсе не он возглавлял\* сторонников быстрого поднятия Памира.

Дружбы этот спор не портил. Мы продолжали полемику не только в печати, но и в домашней обстановке. Мы обсуждали свои позиции, искали истину. Если спрессовать многолетний спор в диалог, в котором излагаются доводы «за» и «против» быстрого подъема Памира, то получится следующее.

*За:* Остатки костра на древней стоянке в Маркансу, бревна на могилах.

*Против:* Пыльцевой анализ образцов со стоянки доказывает, что растительность десять тысяч лет назад была не лесной, а такой же, как сейчас, — пустынной. Мы и сейчас, покидая Памир, сжигаем стойки от палаток, почему бы этого не сделать и древним охотникам? Бревна на могилы могли быть принесены из-за Сарыкольского хребта ради ритуала захоронения. Памирские жители и сейчас носят бревна на дальние расстояния.

*За:* А рисунки лесных зверей в гроте?

*Против:* Древний художник видел их в другом месте.

*За:* Но тогда надо признать дальние кочевки древних людей, что вероятно лишь при более мягком климате.

*Против:* Почему же? Ведь не зимовали же они на Памире, сумели добраться до Маркансу на лето, значит, могли кочевать на дальние

расстояния. Просто это были крепкие ребята. Но все это косвенные данные. А вот геофизические материалы, повторные нивелировки показывают, что Памир поднимается всего на три сантиметра в наиболее активный год с землетрясениями. Это уже прямой факт.

*За:* Подъем Памира мог быть неравномерным: сейчас три сантиметра в год, а тысячу лет назад могло быть двадцать сантиметров в год.

*Против:* А как же с западнопамирскими лугами?

*За:* Значит, Восточный Памир поднимался быстрее, чем Западный. А вот древние цирки, замороженные ледниками, сейчас находятся на высотах, доказывающих быстрый подъем Памира.

*Против:* Расчет древней снеговой линии неверен, мы проверяли. А как расценить факты, добытые палеогляциологами? Они рассчитали вещественный баланс ледника Маркансу, сопоставили его с температурными условиями, и расчет показал, что со времен стоянки горы поднялись всего на двести метров.

*За:* А как же попал тростник в Джарты-Гумбез?

*Против:* С долинными ветрами. Семена попадают и в другие места, но проросли только возле теплого источника, а дальше уже шло вегетативное размножение. А как же быть с эволюцией?

И так далее, вот уже более пятнадцати лет. Каждое «за» или «против» — это статья. Или выступление с докладом. Или просто спор за чашкой чая.

Если бы научная истина решалась голосованием, вопрос давно был бы решен. Но в науке споры так не решаются. Галилей был в явном меньшинстве, но истина была на его стороне. Другое дело, что косвенные признаки быстрого подъема Памира опровергались легче, чем прямые геофизические, палеогляциологические, спорово-пыльцевые данные. Но и многие доводы противной стороны требовали объяснения. Иногда оно находилось: уточнялись факты, выискивался дефект в методе или в теории. А иногда вопрос оставался без ответа. И на наши вопросы «противник» не всегда находил убедительный ответ.

Сейчас имеется очень много фактов в пользу того, что скорость тектонического поднятия Памира за последние десять тысяч лет не превышала двух-трех сантиметров в год. Эти факты получены в результате фундаментальных исследований, тщательно проверены. Если бы только не «проклятые» вопросы, то и дело подбрасываемые

нам сторонниками быстрого подъема, можно было бы спать спокойно. Но нет этого покоя, нет ответов на некоторые «проклятые» вопросы. И мы работаем.

## ***Я НЕ ЗНАЮ***

Но конусу выноса шагалось легко, хотя и приходилось все время перепрыгивать через камни и арыки, обходить клочки посевов. Кишлак Джамак был уже совсем близко. Слева по ходу обратила на себя внимание груда скальных обломков, каждый из которых был размером с добрую кибитку. В то время я увлекался изучением растений, живущих на скалах, а на таких обломках можно было найти всякие интересные объекты: накипные мхи и лишайники, растения в расщелинах и тому подобное.

В каменном хаосе один обломок скалы стоял на узком торце и возвышался над остальными, бросаясь в глаза. Когда я добрался до него, увидел... картинную галерею. Плоская грань обломка площадью до шести квадратных метров вся была испещрена наскальными рисунками. Это были изображения десятков горных козлов — кииков (по-местному нахчиров). Целое стадо! Изображения были стилизованы до предела: горизонтальная линия — туловище, четыре вертикальные палочки — ноги, две изогнутые вверх линии — рога. Так рисуют дети. Но этих козлов рисовали не дети. Козлы были выбиты на крепком камне. Детям такое не под силу. Точные удары оставляли цепочку углублений, сливающихся в линии. Как татуировка. Иногда линии были рыхлыми, чаще сплошными. На вороненом фоне пустынного загара рисунки выделялись отчетливо. Некоторые изображения тоже были покрыты пустынным загаром. Другие были светлыми. Слева был изображен человек с копьем. Тоже несколькими линиями, как в детском рисунке. У некоторых козлов на рогах были насечены годичные бугры, у других приделан торчащий кверху хвостик.

Перед началом сезона археологи просили меня, если встречу что-нибудь по их части, отмечать эти объекты, и я решил перерисовать всю галерею в дневник. Рисовал до вечера, по успел нанести на схему всех козлов. С утра, когда вышло солнце, вернулся сюда же и сфотографировал всю изрисованную стенку. В кишлаке расспросил об

этих рисунках жителей, но они как-то неохотно поддерживали разговор. Настаивать я не стал, у меня и своих дел хватало.

До конца сезона я между делом зарисовал и сфотографировал для археологов еще несколько наскальных рисунков в разных частях Яамира. Это тоже были по преимуществу козлы, но попадались и всадники, и охотники с луками, и горные бараны архары. Правда, таких скоплений рисунков, как возле Джамака на Язгулеме, я больше в тот год не видел.

Осенью, решив порадовать друзей-археологов, я тщательно перерисовал из дневника на отдельные листы все наскальные рисунки. Когда были проявлены пленки, отпечатал для них и снимки. Прежде чем отнести все это, я стал проверять по фотографиям правильность зарисовок. И к великому своему удивлению, обнаружил, что на фотографии Джамакской скалы изображений было значительно больше, чем на рисунке. Снова вытащил дневник, снова проверил, даже пересчитал изображения. Сомнений быть не могло: на снимке было козлов больше, чем на рисунке. Я ничего не понимал.

Так и не сумев объяснить странный феномен, пошел со всем этим к археологам. Вадим Александрович Ранов, которому я отнес материалы, высказал относительно этого расхождения гипотезу: фотообъектив уловил очень старые изображения, полностью слившиеся с фоном стены и поэтому не уловленные глазом. И стена, и старые изображения покрылись одинаково темным слоем пустынного загара. По степени «латинизации», то есть степени интенсивности пустынного загара, можно определить относительный возраст этих наскальных рисунков — петроглифов. Ранов рассказал мне также, что эти петроглифы — не что иное, как охотничья магия: древний охотник сначала рисовал козла, поражал изображение копьем, а потом уже шел охотиться на козлов настоящих. Видимо, от удачи охоты зависело слишком многое, раз охотник не ленился на такую трудоемкую магию.

Я поинтересовался: почему же рисунки, различно патинизированные, а значит, разновозрастные, одинаково примитивны? Ранов сказал, что изображение животного — это символ в охотничьей магии, не больше. Вот и сохранялась традиционная символика: рисунки стилизовали сравнительно одинаково. Но именно сравнительно. И Ранов тут же вытащил целую пачку фотографий и стал демонстрировать мне разные способы стилизации древних

рисунков, разную степень их выразительности. Все это получалось у него очень убедительно, хотя сам я, хоть убей, ничего бы этого не подметил: не профессионал.

В следующем сезоне я не поленился снова добраться до Джамака, чтобы рассмотреть в натуре рисунки, уловленные фотообъективом и не замеченные глазом. Все было правильно: рисунки, действительно, были там, где их зафиксировала фотография. Если бы не фото, я бы даже сейчас принял их за шероховатости скалы. Но это, несомненно, были рисунки. Ранов говорил, что их возраст, судя по характеру изображения, возможно, превышает две тысячи лет. Вот тогда-то я и решил, что наскальные рисунки — это и мой объект, не только археологический.

Дело в том, что нам легче восстановить природную обстановку, какой она была сто тысяч лет тому назад, чем ту, что была, скажем, за пять тысяч лет до нас. События стотысячелетней давности оставили массу следов: ледниковые долины и морены, системы террас, глубины речного вреза и так далее. Эти события были грандиозны (оледенения, например) и очень продолжительны (например, подъем горной страны). Вот яркие следы и дают нам возможность восстановить эти события. Несколько тысячелетий — слишком короткий срок для того, чтобы мелкие изменения накопились в виде яркого следа. А грандиозных событий вроде оледенений за историческое время не было. Вот почему больше всего споров среди ученых идет о палеогеографии последних тысячелетий. Именно, поэтому я и ухватился за эти наскальные рисунки.

Впрочем, задолго до того, как я за них ухватился, накопилась специальная литература, подогревшая этот научный интерес. Еще в прошлом веке, да и в нашем столетии тоже, появились статьи и книги, в которых утверждалось, что Средняя и Центральная Азия стали пустынными за историческое время, чуть ли не буквально на глазах у человека. Мертвые города в пустынях, покинутые древние крепости, засыпанные песками стволы давно погибших деревьев, неожиданно быстрая гибель ряда цитаделей и целых древних государств — все это выстраивалось в систему доказательств того, что примерно три-четыре тысячи лет тому назад климат резко изменился и Центральная Азия стала катастрофически быстро усыхать. Позже всем этим фактам нашлись и другие объяснения: войны, накопление подгорных наносов,



блуждающие русла рек, уходивших в сторону от оазисов, и так далее. По срезам тысячелетних деревьев установили, что никаких резких изменений за последнюю тысячу лет климат не претерпел. Словом, гипотезу усыхания Азии ученые в основном отвергли. Но не все. Некоторые исследователи упорно продолжали доказывать, что усыхание климата за историческое время все-таки произошло, более того, оно продолжается. Причем не только на равнинах, но и в горах, в том числе и на Памире. На этот счет тоже приводились всякие доказательства. Механизм иссушения гор объясняли ростом горных барьеров — Гималаев и Гиндукуша, которые загородили путь муссонам в Тибет и на Памир. Впрочем, о гипотезе стремительного роста гор я уже писал.

Так вот, наскальные рисунки заинтересовали меня именно в связи с проблемой эволюции климата Памира за последние тысячелетия. За неимением прямых доказательств эволюции климата в сторону иссушения или, наоборот, повлажнения приходилось искать косвенные доказательства. Я составил целую программу, которую решил во что бы то ни стало выполнить. Сначала надо было узнать: с какой скоростью камни покрываются пустынным загаром? Ведь рисунки выбивались на корочке этого загара, а потом сама насечка покрывалась корочкой. Если узнать темпы образования корочки, скорость, с которой происходит латинизация, можно будет выяснить не только относительный («моложе — древнее»), но и абсолютный возраст рисунков. Потом надо было сравнить число рисунков разного возраста. Это нужно для того, чтобы узнать, как часто люди разных эпох отправлялись на охоту. Если часто, значит, охота была рядовым событием, значит, козлов было больше, а следовательно, можно предположить, что и корма было больше. Это уже подводило вплотную к эволюции климата: частота охотничьих актов — численность козлов — плотность козлиного населения в древности — плотность современная — количество поедаемой козлом за год травы — пересчет на урожайность и кормозапас — масса травостоя в древности и теперь — эволюция климата. Здорово!

Конечно, во всем этом построении было множество допущений, и если бы я даже получил исчерпывающий результат, то его можно было легко оспорить, как доказательство сугубо косвенное. Но ведь и в других построениях такого рода преобладали косвенные

доказательства, тоже уязвимые. Словом, я решил эту частную программу выполнить. А для начала сдал в печать статью о наскальных рисунках Язгулема. В статье описывались сами рисунки, техника насечки и так далее — совсем не по моей специальности статья. Я предполагал, доведя исследование до конца, дать потом серию статей и показать все этапы поиска. Поскольку эту программу надо было выполнять попутно, в промежутках между основной работой, дел предстояло множество.

Начал с пустынного загара. Это — железисто-марганцевая корочка на камнях. Цвет ее — от коричневого, действительно похожего на сильный загар, до синевато-черного, вороненого. Чем старше корочка, тем она темнее. Очень сильный пустынный загар даже отливает металлическим блеском. Долгое время считали, что пустынный загар образуется на камнях только в условиях пустынного климата, но потом выяснилось, что загар встречается во всех природных зонах, что для формирования корочки необходима вода, и эту корочку иногда называли пойменным загаром. И действительно, на Памире этот загар образуется или в поймах, или в местах скопления снега, или там, где сейчас сухо, но когда-то было по той или иной причине влажно. Сам механизм образования загара не совсем ясен. Одни считают, что здесь не последнюю роль играют почвенные микроскопические водоросли или накипные лишайники, другие полагают, что обходится и вовсе без организмов, с помощью одной химии. Главное же — это очень продолжительное время, требуемое для образования загара. Судя по наскальным рисункам, очень старым, покрытым черно-синим загаром, этой стадии потемнения корочка достигает за сотни лет. За сколько сотен лет — неизвестно.

Я наколот целую кучу образцов с пустынным загаром разной интенсивности и пошел к геологам: не могут ли они радиоуглеродным методом определить возраст? Мне сказали, что ежели бы гам был углерод, то, пожалуй, и можно было бы, но не тащить же нею аппаратуру и шлифовальные станки на Памир. А железисто-марганцевую корочку они и вовсе пока анализировать не могут.

Тогда я снова пошел к Ранову. Тот сказал, что возраст наскальных рисунков по стилю самих изображений, сравнивая разные петроглифы, можно только предполагать. Сказал, что точнее определить возраст

никто пока не может. С большой приближенностью можно определить, что отдельные рисунки имеют возраст до трех тысяч лет, а может, и четырех тысяч. Это по стилю. А по степени латинизации можно определить только относительный возраст, так как темпы латинизации в разных районах тоже разные, и вообще все это «туман», для точного расчета непригодный.

Отступить я не хотел и повез образцы в Ташкент. Потом в Ленинград. Потом в Москву. И нигде никто не мог мне сказать что-нибудь о возрасте корочки. Кто-то намекнул, что физики, изучающие частицы высоких энергий, могут разглядеть на отшлифованной поверхности камня шрамы от каких-то космических частиц, а подсчитав их в каждом слое, определить возраст слоя и всей корочки. Но к физикам-ядерщикам меня не допустили, а один причастный к этому делу физик сказал, что этот метод только разрабатывается, что неизвестно еще, что определяют: то ли возраст камня по числу шрамов, то ли энергию частиц, что мне было и вовсе ни к чему.

Словом, блестящая программа зашаталась при первых же шагах. Тогда я решил зайти с другой стороны. Стал выяснять: сколько же горных козлов вообще могло жить на Памире тысячу, две и три тысячи лет назад? Если не помогли петроглифы, может быть, что-то найдется в специальных работах? Меня подбодрила статья Кирилла Владимировича Станюковича. Он писал, что горных баранов архаров на Восточном Памире раньше было так много, что они вытаптывали травостой не хуже нынешних бараньих отар, из-за чего и стали развеиваться пески. А когда архаров из-за отстрела стало во много раз меньше, пески стали зарастать. Следовательно, цивилизация, уничтожив архаров, способствовала закреплению песков. Все это было интересно, но ни одной цифры, хотя бы приблизительно оценивающей древнее поголовье архаров, не говоря уже о козлах, в статье не было. Не нашел я этих данных и в других литературных источниках. Ясно было лишь одно: еще в прошлом веке архаров и нахчиров — горных козлов — было во много раз больше. На них охотились с луками и пращами, о чем сейчас и речи быть не может, так как даже на винтовочный выстрел нахчиры не всегда к себе подпускают. Марко Поло свидетельствовал, что в XIII веке из рогов архаров делали ограды. Я сам видел такие ограды из рогов нахчиров возле мазаров — захоронений, считавшихся святыми. На одном из таких мазаров я

насчитал около трехсот пар рогов горных козлов. Все рога были старыми, растрескавшимися, выветрелыми. Свежих рогов не было совсем. Люди стали редко посещать «святые места».

Короче говоря, даже приблизительной цифры численности нахчиров и архаров в прошлом я добыть не мог нигде. Местные старики говорили, что этой живности еще на их памяти было в десять раз больше, чем сейчас. Некоторые говорили — в сто раз. Как только появилось огнестрельное оружие, так сразу же стали исчезать архары и нахчиры: или их выбили, или они ушли через границы в малонаселенные районы соседних стран. Но во сколько же раз меньше стало этих животных? В десять? Или в сто раз? И кто их считал?

Я пошел к зоологам. Они только начинали учет крупных копытных Таджикистана. Сказали, что и в самом деле с появлением огнестрельного оружия численность копытных упала очень сильно. Что же касается их современного поголовья, то винторогих козлов осталось примерно тысяча голов, архаров — несколько десятков тысяч, а сколько нахчиров, они не знают даже приблизительно. Значит, и этого выяснить не удалось.

Но все сходилось на том, что резкое уменьшение поголовья горных козлов относится к временам совсем недавним: не тысячи, а несколько десятков лет назад этих животных было еще очень много. Это не имело к моей программе никакого отношения: за десятки лет климат никак не изменился. Это очевидно.

Тем временем вышла в свет моя статья о наскальных рисунках Язгулема. Желая реабилитировать себя перед своими коллегами, несомненно удивившимися этой статье «не по профилю», я попытался хоть что-нибудь добавить к уже сделанному. Но выяснил только, что нахчиру требуется ежедневно не менее четырех гектаров высокогорных низкопродуктивных пастбищ, которые имеются сейчас на Памире. Это значит, что одновременно на Памире сейчас может прокормиться около восьмидесяти тысяч нахчиров. Это если их не уничтожать. В действительности их во много раз меньше. Но климат тут опять же был ни при чем. Для косвенного вывода об эволюции климата Памира не хватало ключевых фактов. Я понял, что статья о наскальных рисунках останется без продолжения. Так и случилось: статья осталась в виде напоминания о тупике, в который завел меня этот поиск. Про-грамма была хороша, но она не подпиралась

разработанными методиками. И если сейчас меня спросят, с какой скоростью образуется на Памире пустынный загар, сколько нахчиров жило в памирских горах тысячелетия назад, сколько травы они съедали при одновременном выпасе и как изменился по сравнению с теми временами травостой из-за эволюции климата, я отвечу: «Не знаю!» А кто знает? Пока никто.

## **НЕУЮТНАЯ ЖИЗНЬ**

Человек может жить или уютно, или неуютно. Для географа или ботаника-полевика уют — это не материальные его атрибуты, играющие в общем-то второстепенную роль. Уют — это соответствие фактов теории. А если факты в существующую теорию не влезают, ни о каком уюте речи быть уже не может. А так как фактов много, а теорий сравнительно мало, то факты то и дело из этих теорий вылезают и об уютной жизни исследователю не приходится и мечтать.

Исследователь не любит ходить проторенными путями. Узнав, что кто-то занимается тем же научным вопросом, исследователь либо обгоняет «соперника» в темпах и результатах, либо, если это оказывается невозможным, отходит в сторону и переключается на другую тему. Это даже не правило, просто такова практика. Но бывают и исключения. В полевых условиях проторенные маршруты могут оказаться не менее интересными, чем новые. Каждый ботаник, например, прокладывая профиль в горах, преследует свою цель. Один собирает гербарий. Другой фиксирует высотную смену лесной растительности вдоль поймы, а до сухих склонов ему и дела нет. Третий ищет дикие плодовые кустарники. А четвертый, как я например, проделывает все эти операции да еще прослеживает состав и смену растительности с высотой. Но даже если предшественник занимался тем же самым, всегда есть дела и для последователя. Предшественник мог, например, чего-то не заметить. Он мог по-другому оцепить мозаичную комбинацию растительности. Он мог придерживаться других взглядов в теории и наметить на профиле совсем другие рубежи. Или, находясь под влиянием какой-нибудь гипотезы, видеть несуществующие аналоги, например луга на склонах, поросших на самом деле вовсе другим травостоем. Наконец,

предшественник мог вообще идти без альтиметра и не отметить уровней поясных границ. Да что там говорить: если по тому же маршруту в горах пройдет даже десять ботаников подряд, каждый 113 них внесет свой вклад в характеристику профиля и с полным правом может считать этот профиль своим.

Все это я говорю к тому, что в один прекрасный день я шел вверх по ущелью, по которому до меня ходило множество ботаников. Это было очень красивое ущелье. Оно было настолько узким, что, стоя среди зарослей ивы, росшей по дну щели, молено было, не сходя с места, делать описание растительности прилегающих сухих склонов. Для всех ботаников — моих предшественников этот маршрут прошел благополучно, а для меня нет. После этого маршрута в моих глазах закон высотной поясности вдруг покачнулся и стал вибрировать, как мираж в пустыне. Я шел вверх, и по мере подъема растительность склонов, хорошо видная со дна ущелья, все время менялась, а по дну шли все те же ивняки. Когда я вернулся на базу, то сразу же просмотрел дневниковые записи прежних маршрутов, и закон высотной поясности закачался еще сильнее.

В соответствии с этим законом растительность в горах изменяется снизу вверх, поскольку в том же направлении падают температуры и все связанные с ними природные явления и процессы. Внизу всегда расположена более теплолюбивая растительность, вверху — холодостойкая, а посередине может быть несколько промежуточных типов растительности. Каждый такой поясной тип растительности имеет нижний и верхний пределы. Это поясные границы. В одинаковых природных условиях эти границы располагаются примерно на одинаковой высоте. Например, в центре Западного Памира пояс колючеподушечной растительности лежит между высотами 3300 и 3800 метров, а ниже и выше этих уровней колючих подушек становится все меньше. Как и с другими растительными поясами. Правда, на Памире поясные границы нерезкие, как бы размытые и между поясами лежит переходная полоса со смешанной растительностью, но все равно высота поясной границы колеблется в строгих пределах. Это закон высотной поясности. Он действует на всей планете так же точно, как законы механики. И вдруг этот Маршрут и результаты последующего просмотра дневников внесли сомнение; а так ли уж строг закон высотной поясности?

Дело в том, что на Памире сухо, и когда профиль прокладывается по сухим склонам, под ногами сменяются пояса сухолюбивой растительности: внизу — полынные пустыни в разных комбинациях, выше — колючеподушечная растительность, еще выше — иногда горные степи, а когда степей не оказывается, сразу же вступаешь в пояс верхней холодостойкой и засухоустойчивой растительности, которую принято называть криофильной. Получалось три или четыре высотных растительных пояса, и границы между ними лежали на строго определенных высотах, как и положено по закону высотной поясности. Но стоило подняться вверх не по сухому склону, а по ущелью, вдоль которого течет талая вода (или родниковая — безразлично), как все менялось. В месте сухолюбивой растительности по дну ущелья в горы поднимались влаголюбивые леса и кустарники — ивы, облепиха, смородина, жимолость, а под ними — тростники, ситники, водосбор, мытники, колокольчики, полевица... И это тоже было правильно: в каждом поясе есть сухие и влажные места, поэтому вдоль потоков росли влаголюбивые растения, а на сухих склонах — засухоустойчивые. «Неправильным» было только одно обстоятельство, которое я заметил во время того маршрута по узкой щели и которое не замечал раньше. Согласно закону высотной поясности, на определенной высоте должна была изменяться вся растительность — и сухолюбивая на склонах, и влаголюбивая вдоль рек и потоков. А на самом деле этого не происходило. Лесная растительность, например, вдоль горных потоков заходила в горы так высоко, что узкая лента этих лесов пересекала несколько поясов сухолюбивой растительности. По тому ущелью, с которого я начал рассказ, росла, как я уже отмечал, ива. Шугнанская ива. Рядом на сухом склоне господствовали полынные пустыни. Три тысячи метров: та же картина. Три с половиной тысячи метров: полынники на склоне давно сменились колючими подушками, а вдоль потока все идут заросли шугнанской ивы. 3850 метров: на склоне кончились колючие подушки, начались горные степи, а вдоль потока все еще идут заросли шугнанской ивы. Правда, ива стала пониже, заросли пореже, но ничего принципиально нового не произошло. 3940 метров: ивняки по ущелью кончились, сменились кобрезиевыми лугами, а рядом на склоне шелестит ковыльная степь. Ивняки вдоль ущелья как бы проткнули два высотных пояса на склонах и вторглись в третий. 4100 метров: кобрезиевые луга

продолжают господствовать возле ручья, а на склоне степь постепенно сменяется криофильной растительностью. 4400 метров: на склоне криофильная растительность, а вдоль потока все еще идут кобрезиевые луга — до самого снега, до 4600 метров.

Такая же картина наблюдалась и по другим профилям. Я не верил своим записям, не верил показаниям альтиметра, все это проверял, стал повторять маршруты. Все оказалось правильно. Вернее, как раз неправильно: растительность вдоль потоков не обращала никакого внимания на поясные границы, отмеченные на сухих склонах. Закон высотной поясности закачался. Факты не лезли в теорию. Стало как-то неуютно.

Правда, мне и в голову не пришла крамольная мысль о том, что я сумел опровергнуть закон природы: до такой глупости я еще не дошел. Мне просто было неуютно, и все. А тут еще добавилось сомнений. Приехали почвоведы, стали вести съемку тех же районов, которые я уже положил на карту. Почвоведы опытные, знающие. Их возглавлял мой давний товарищ Василий Яковлевич Кутеминский, с которым задолго до этих событий мы вместе работали в Дарвазе. Кутеминский — человек молчаливый, и вместе мы довольно хорошо уравнивали друг друга. К концу сезона Кутеминский закончил рабочую кальку почвенной карты. Я с интересом стал эту карту разглядывать. Потом сбегал за своей геоботанической картой, тоже нанесенной на кальку, положил ее на почвенную, посмотрел на просвет и... свистнул. Кутеминский вопросительно на меня поглядел.

— На-ка посмотри, — предложил я.

Кутеминский посмотрел и неопределенно хмыкнул.

— Ты на границы поясов обратил внимание? — наседал я. Кутеминский кивнул. Я и так видел, что он обратил: он человек наблюдательный. Часть поясных границ на почвенной и геоботанической картах совпадала. Но почвенных поясов было вдвое меньше, чем растительных. В один почвенный пояс влезали два растительных пояса. Я снова пристал к Кутеминскому:

— Ты закон единства системы «почва — растительность» знаешь?

Кутеминский улыбнулся снисходительно и кивнул.

Согласно этому закону, каждому типу растительности соответствует свой тип почв: тундрам — глеевые почвы, хвойным лесам — подзолы, степям — черноземы и так далее. А тут явное



несоответствие. Кутеминский это и сам увидел. Наконец он высказался:

— Скорее всего то, что ты считаешь типом растительности, не тип, а что-нибудь рангом пониже. Только и всего.

Но тут уж он меня никак сбить не мог. Скорее я склонен был обвинить почвенную классификацию в несовершенстве. На том и разошлись. Стало еще неуютнее.

Для рассуждений по всем этим поводам не было новых фактов, и я обсасывал имеющиеся. Обратил внимание на одну забавную закономерность: чем уже было ущелье в горах, тем выше забирались по нему леса и кустарники. Не поверив себе, взял на учет сотню ущелий и составил расчет: такая-то ширина дна ущелья, такая-то абсолютная высота захождения леса в горы. Потом сунул всю эту кучу цифр в ЭВМ в вычислительном центре Академии и получил результат. Вероятность этой закономерности оказалась очень высокой. Значит, так оно и есть.

Надо было выяснять, в чем тут дело. Высотное положение растительности в ущельях было парадоксальным, так сказать, неправильным, лишенным здравого смысла. Ведь сверху вниз по ущельям бежит холодная вода с ледников или снежников. Она охлаждает вокруг себя воздух. Получается что-то вроде холодильника. И по всем этим соображениям высотные рубежи растительности в ущелиях должны были снизиться. И чем ущелье уже, тем больше они должны снизиться, так как охлаждающее влияние водного потока в узкой щели распространяется на всю ее ширину. А в действительности растительность ущелий сдвинута вверх.

Постепенно прояснилось и это. Прояснилось с большим трудом. Чем только я не занимался! Гидродинамика, аэродинамика, теплопроводность... Добравшись до сути, я спохватился, что занимаюсь не своим делом, что чуть не стал физиком. Но зато выяснил, что в узких ущельях для леса складываются более благоприятные условия, чем в широких. В них и снега больше скапливается, и холодный воздух на дне не застаивается, и теплые долинныи ветры снизу сильнее дуют. И еще многое другое способствовало лучшему самочувствию лесов в узких ущельях. Но все это ни на шаг не приближало меня к выяснению причин разновысотности растительного покрова на склонах и в ущельях.

Когда какой-нибудь факт не лезет в стройную схему, появляется большой соблазн этот факт отбросить, игнорировать его. Так я сначала и сделал: решил, что влаголюбивая растительность в ущельях, не подчиняющаяся общей поясности, просто внепоясная. И все тут. Эта растительность занимает меньше одного процента площади гор, так стоит ли из-за этой мелочи ставить под сомнение закон природы? Ведь на девяносто девяти процентах площади растительность подчиняется этому закону. Это было удобно — закрыть глаза на исключение ради стройности всего правила. Но уютнее мне от этого, честно говоря, не стало.

И вдруг... (Это часто бывает именно «вдруг».) Вдруг пришла в голову простая мысль: «А почему, собственно, несовпадение высотных границ растительности склонов и ущелий опровергает закон высотной поясности?» И в самом деле, почему? Вовсе не опровергает. Ведь вдоль ущелья растительность с высотой тоже меняется. Сначала идет лес, потом луга. Два пояса. Правда, рядом на склонах идет совсем другая растительность, и меняется она с высотой быстрее: на склоне сменилось по высоте два пояса, а в ущелье рядом — один. Получается как бы два смежных ряда поясности. Стоп! Вот оно!

Сначала я пошел в горы, проверил свои предположения, а потом сел за письменный стол. Все встало на свои места. Я начал формулировать идею поясных рядов в засушливых горах. Существует два смежных, но экологически разнородных ряда поясности: на склонах атмосферного увлажнения — один, а вдоль водных потоков — другой. В этих рядах и типы растительности разные, и высотные пределы их распространения не совпадают, и число поясов в них разное. Но поясность в обоих случаях сохраняется. Закон незыблем. Он просто уточнился. И оба поясных ряда надо рассматривать отдельно, не сваливая в одну кучу растительность склонов и ущелий. Жить стало куда уютнее.

Но до полного уюта дело так и не дошло. Не давало покоя различие в числе почвенных и растительных поясов. Сначала я тоже хотел отмахнуться от этого и сваливал все на необъективность почвенных классификаций. Да и классификацию растительности ставил под сомнение. И в той и в другой изъязнов было сколько угодно. Но расхождение было настолько разительным, что одной критикой классификаций обойтись было нельзя. Тогда я придумал хитрую

гипотезу, которую ни доказать, ни опровергнуть было невозможно. Я высказался в том смысле, что на геологически молодом да еще засушливом Памире ни почвы, ни растительность до конца еще не сформировались, что мы наблюдаем просто раннюю стадию развития того и другого, а вот через полмиллиона лет посмотрим, мол, что получится: все тогда станет на свои места и пояса совпадут. Удобная гипотеза. Мне она самому нравилась своей неуязвимостью. Только уюта от нее почему-то не прибавлялось.

...Однажды в мой отряд приехал из Душанбе молодой альголог Виктор Петрович Бут. Альголог — это специалист по водорослям. Виктор Петрович был специалистом по почвенным микроскопическим водорослям. Он уходил с нами в горы, отбирал на склонах свои образцы, никому не мешал, а если было нужно, то и помогал. Словом, он оказался хорошим товарищем и всем пришелся по душе. Как-то вечером я попросил Виктора Петровича рассказать нам о своей работе поподробнее. И когда он рассказал, я чуть не подскочил:

— Да это же как раз то, что нам нужно!

Виктор Петрович скромно улыбнулся. Мы тут же составили программу и со следующего дня приступили к ее выполнению. Виктор Петрович стал отбирать образцы по моему указанию в разновысотных поясах и под разными сообществами растений. Зимой, проделав анализы, он уже выдал мне интересный результат. Даже несколько. Во-первых, в почве оказалась тьма-тьмущая этих самых водорослей — куда больше, чем я предполагал. А во-вторых, под разной растительностью, в разных поясах состав и обилие почвенных водорослей были тоже разными. В почве эти микроскопические растения создавали целые сообщества. Причем, как сказал мне Виктор Петрович, сообщества эти были полностью сформированными. Чем развитее почва, тем совершеннее были и водорослевые сообщества. Моя гипотеза, казавшаяся неуязвимой, рухнула. Почвы на склонах Западного Памира оказались достаточно развитыми.

Не стану рассказывать всю эту историю до конца. Тем более что конца еще не видно. Скажу только, что постепенно накопился материал и по другим микроорганизмам, живущим в почвах Памира. Возникло подозрение, что именно микроорганизмы оказывают решающее влияние на эволюцию почв в засушливых условиях, а высшие растения, не сформировавшие пока в этих условиях развитых

сообществ, такого влияния на почву не оказывают. И почвенные пояса совпадают с «микроорганизменными» поясами, а не с теми, которые образует видимая невооруженным глазом высшая растительность. Во всяком случае похоже, что это именно так. Тогда получается, что почвы на сухих склонах обогнали в своем развитии высшую растительность. А главное, закон единства почв и растительности лишний раз подтвердился. Только в этом случае единство оказалось не с высшей, а с микроскопической растительностью. Правда, и эта гипотеза имеет много недоказанных положений, над ней еще работать и работать. Но другой пока нет.

По другим вопросам тоже много неясностей. Например, некоторые поясные типы растительности приурочены или к пологим, или к крутым участкам склонов, а участки эти повторяются на склонах снизу вверх, как ступеньки. Получается, что на поясность влияет не только температура, но и рельеф. Или такая неясность: на склонах, обращенных в сторону лесных районов, встречаются кустарники, а на склонах, повернутых в сторону районов со степями, встречаются степные пояса. Получается, что на тип поясности влияет соседство смежных гор. Все эти факты и зависимости в теорию поясности тоже влезают с трудом. Снова надо искать решение. И я снова ищу. Словом, жизнь остается по-прежнему неудобной и беспокойной...



# ВЕЧЕРА НА ЛАГЕРЕ БЛИЗ СЕНДИВА



Наш лагерь на Шахдаре простоял в двух километрах от Сендива целых девять недель. Такое постоянство объяснялось удобным положением выбранного под лагерь места. От него можно было ходить и вверх и вниз по Шахдаре, и на север, в Шугнанский хребет, и на юг, в Шахдаринский, в боковые долины Чандыма, Друмдары, Сендива. Они забирались под самые ледники и ветвились там, в горах, как саксаул. Из базового лагеря мы уходили в разные стороны иной раз дней на пять. Геоботаническая съемка — это такая работа, что если ее быстро сделаешь, значит, сделаешь плохо. Вот и стоял наш лагерь на том же месте чуть ли не пол-года. Геологи, часто проходившие мимо, посмеивались, говорили, что мы просто средства осваиваем на живописном месте. Смеяться смеялись, но лагерь наш стороной не обходили, и гости были явлением обычным.

По возвращении из маршрута дел на лагере все равно невпроворот: надо до темноты переложить гербарий, зарегистрировать его в журнале, проставить регистрационные номера в бланки описаний, сделать отметки в пикетажке и на карте, зарегистрировать

отснятую пленку, потом подготовиться к завтрашнему маршруту, и только потом следуют переодевание, ужин, отдых. Лаборанты иногда ворчат на всю эту «карусель», но без нее потом концов не найдешь. Заведенный порядок блюдетя, как в госбанке.

Темнеет в горах рано: и широта здесь южнее тридцать восьмой параллели, и горы вздымают рваный горизонт навстречу солнцу. Между ужином и сном, если не очень за день притомилось, остается часок свободного времени. Коротают его как угодно, но без милого сердцу чтения: только фонарь засветишь — налетят москиты, изведут, до утреннего холодка не дадут покоя. А без чтения что за досуг для интеллигентного человека? Особенно ежели вечеров этих десятки. Вот в этот-то час между ужином и сном особенно ценился интересный разговор. Интересным, кстати, он был всегда, шла ли речь о работе или просто «за жизнь». Иногда разговор входил в какое-то русло и переходил в монолог, в рассказ. Ах, какие блестящие рассказчики встречались! Прошли годы, а некоторые рассказы до сих пор живут в памяти. Вот некоторые из них.

## ***РАССКАЗ О ЗАГАДОЧНОМ РАДИСТЕ***

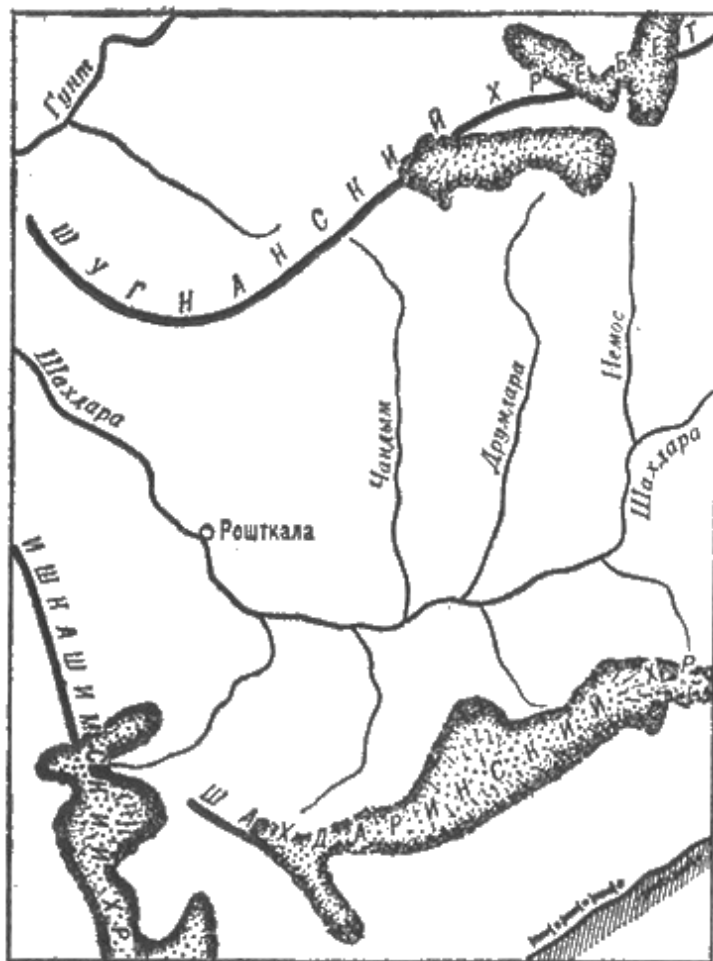
Рассказчик погрел руки о кружку с чаем, отхлебнул и предупредил:

— Только, чур, не смеяться, а то спать пойду.

Лицо его в темноте лишь угадывалось, и поэтому весь рассказ был воспринят лишь «на голос».

— Так вот, случилось это не со мной, а с моим другом Белозеровым. У него партия в Заалайском хребте тогда работала. Хребет этот, сами знаете, серьезный: ледники, острые гребни, скалы. Но и ребята в партии подобрались крепкие, двое даже разряд по альпинизму имели. И оснащение у них было, как у альпинистов: скальные крючья, кошки, рация, все что положено. Работа велась в пригребневой части хребта, как раз там, где все эти пики скопились — и Курумды, и Заря Востока, и пик Пограничников. Интрузии там на поверхность вышли, а где интрузии, там всегда приятные сюрпризы для геолога-разведчика возможны. Так и работали, месяц, полтора. Все шло хорошо, как вдруг пошла полоса невезения. У радиста аппендикс

разгулялся. Пришлось его в Ош отправить. А тут двое не вернулись из маршрута — геолог Лапшин и рабочий Стукалов. Белозоров через милицию связался с базой, рассказал о случившемся, попросил прислать другого радиста, а сам с тремя геологами кинулся в спасаловку по следу Лапшина. Следов на камнях, конечно, никаких не было, известно было только место, куда ушли маршрутом Лапшин и Стукалов. И путь туда шел один-единственный, так что должны были найти. Вспомнил по пути Белозоров, как расспрашивали его в милиции. Сказали, что завтра вслед Белозорову пошлют поддержку из нескольких спортсменов.



К гребню добрались под сумерки. А на гребне «жандармы». Они, как верхом, на хребте сидят: их и сверху не пройдешь, так как стенки у них отвесные, метров по сто иной раз, и боком не обойдеш из-за тех же стенок. Оттого и зовут такие скалы жандармами: стоят, не пускают.

Жандармы можно обойти сбоку только с помощью скальных крючьев. Наверное, так и пошли Лапшин со Стукаловым. Но было сумеречно, и Белозоров решил ночевать, чтобы с утра продолжить поиски. Разбили две палатки, влезли по двое в каждую, сжались, подрожали и уснули. Холод! Высота-то более пяти километров.

Ночью Белозоров сквозь сон услышал снаружи скрип шагов по снегу. Решил, что это кто-нибудь из соседней палатки прогуляться вышел, спросил: «Кто?» Ответил незнакомый приглушенный голос:

— Это я, радист, которого вы вызывали. Приехал на базовый лагерь и тут же пошел вслед.

Не будь Белозоров таким сонным, он бы удивился, что радист успел так быстро добраться с экспедиционной базы за полтысячи километров, что шел он в темноте по незнакомым горам. Но Белозоров так устал и изнервничался за день, что никакие такие мысли его не посетили. Он только предложил радисту влезть в любую палатку, но тот сказал, что предпочитает спать на воздухе. И опять Белозоров не удивился, пробормотал только: «Как хочешь» — и стал погружаться в сон. Но еще до того, как заснуть окончательно, он услышал голос радиста:

— Внизу сказали, что искать надо у четвертого жандарма...

Кто сказал? Откуда кто знает, где искать? Будь, повторяю, Белозоров в бодрствующем состоянии, он тут же задался бы этими вопросами. Но сон, холод, усталость да еще эта высота, притупляющая бескислородную мысль... Белозоров уснул.

...Утром никакого радиста возле палаток не оказалось. От палаток по снегу шли только следы, терявшиеся на голой скале первого жандарма. Белозоров спросил ребят, не слышали ли они чего-нибудь ночью. Ребята спали крепко, но тот, что был в одной палатке с Белозоровым, слышал ночью какой-то разговор, а какой — не разобрал. В другой палатке вообще ничего не слышали. Белозоров огорчился, покосился на следы, что вели к жандарму, и ничего рассказывать ребятам не стал, решил, что примерещилось ему: на высоте это бывает.

Следы почти перемело, они едва виднелись, и кто-то из ребят показал на них и сказал, что это наверняка следы Лапшина. Белозоров подумал про себя, что вчера он этих следов вроде бы не видел. Впрочем, темновато уже было...



С трудом прошли первый жандарм. Ничего. Только жесткий снеговой гребень местами был свезен то в одну, то в другую сторону. От ветра он рушился бы только в одну сторону — на это обратили внимание. Не нашли никого и возле второго жандарма. И возле третьего. Ребята высказались в том смысле, что дальше и искать бесполезно: гребень между третьим и четвертым жандармом был чистым, почти полированным. Не было и намека на то, что кто-то ходил по нему. Правда, ветер такой, что любые следы заполирует, но вид у гребня был совершенно девственный. Если бы не ночная галлюцинация, Белозоров согласился бы с ребятами. Но он помнил про четвертый жандарм, как сейчас слышал глухой голос «радиста». И настоял на осмотре этого жандарма. Сказал, что, если и там ничего нет, будут возвращаться.

Четвертый жандарм проходили, как и те три, со скальными крючьями. Белозоров шел впереди, забивал крючья в скалу, нанизывая их предварительно на капроновый шнур. Цеплялся кошками за скалу, повисал на крюке, продвигался дальше, а ребята уже шли за ним. Альпинистский разряд был именно у Белозорова. И у Лапшина тоже.

Внезапно Белозоров замер. Перед ним висел капроновый шнур. Не оранжевый, как у него, а белый. Чуть выше был вбит в скалу крюк — метра на полтора выше того, что забивал сейчас Белозоров. Приглядевшись, он увидел, что над ними идет целый ряд вбитых скальных крючьев. Ребята, занятые проходкой жандарма, не заметили их. Белозоров заметил только потому, что с этого крюка свисал шнур. Конец его, похоже, был обрезан...

...Рассказчик замолчал, неторопливо отхлебнул остывший чай. Все молчали.

— Спите, что ли? — спросил рассказчик.

Кто-то хриплым голосом произнес:

— Не валяй дурака, давай дальше.

— Ну, дальше так дальше... Так вот, вися на стенке жандарма, Белозоров обратил внимание ребят и на крючья, и на свисавший шнур. Кто-то приметил внизу, под жандармом, заснеженный бугор, как бы прилепившийся к крутому склону. Одного из ребят спустили туда на веревке. Там был труп Лапшина. Он сжимал в почерневшей руке конец шнура, тоже вроде бы обрезанного ножом, сжимал крепко, как свидетельство того, что его предали... Следов Стукалова нигде не

обнаружили. С трудом подняли тело Лапшина на гребень. Концы обрезанного шнура забрали с собой как вещественное доказательство. Посланная милицией подмога прибыла вовремя: ребята уже изнемогали, перетаскивая Лапшина через жандармы...

...Вернувшись на базовый лагерь, Белозоров спросил насчет радиста. Ему сказали, что он еще не прибыл. В милиции долго разглядывали принесенные концы шнура. Сказали, что они, возможно, не обрезаны, что капрон на морозе иногда ломается при сильном рывке, вот и тут на излом похоже. Но на всякий случай, сказали, пошлют шнур на экспертизу. Ребята всем случившимся были расстроены до предела. Особенно Белозоров. Он вовсе потерял покой. У него появился какой-то страх перед горами, и вскоре он уволился и уехал жить и работать на Украину. А историю эту он мне перед отъездом рассказал. Вот и все.

...Все завозились, разминая затекшие руки-ноги. Кто-то пробурчал:

— Мистика какая-то, ну тебя с такими рассказами к ночи...

Прорезалось оживление:

— Погоди, погоди, а кто же ночью приходил тогда?

— Ну, померещилось это Белозорову.

— А следы?

— Следы, наверное, Лапшина были.

— А экспертиза что показала?

— Не знаю. Нашему брату это не докладывают.

— А Стукалова так и не нашли?

— Насколько мне известно, нет, не нашли. Белозоров до сих пор уверен, что это Стукалов обрезал шнур, хотя мотивов объяснить не может. Но я-то думаю, что надо было поискать внимательнее где-то там же, возле четвертого жандарма...

Разговор принимал затяжной характер. С утра надо было снова идти в многодневный маршрут, и я разогнал публику по палаткам, из которых еще долго слышалось шушуканье. Наверняка обсуждались новые версии...

***РАССКАЗ О СТАРОМ ПРОВОДНИКЕ***

В тот день на лагерь заезжал наш давнишний приятель — колхозный шофер Андалиб. С ним приехал молодой парень Кадамшо и маленького роста, лет пятидесяти человек, назвавшийся Гарибмамадовым. Кадамшо так и остался у нас: его оформили рабочим. Андалиб, попив чаю и оставив в качестве гостинца бидон джаргота (что-то вроде простокваши), уехал с Гарибмамадовым. Когда Кадамшо освоился, он сказал, что Гарибмамадов — герои, что у него одного орденов больше, чем во всем кишлаке, что Гарибмамадов в войну был снайпером, а сейчас работает в колхозе бригадиром. Через час рассказы Кадамшо о земляке стали перерастать в своего рода эпос. Мы пожалели, что не пригляделись к Гарибмамадову повнимательнее. Заговорили о том, что на Памире вообще иной раз встречаются удивительно интересные люди. Стали вспоминать разные истории на эту тему. Одна из них захватила всех.

Рассказчик начал как-то вяло, но потом разошелся.

— Да-а, вот и у нас на Бартанге встреча была. В Бартангской щели костра не разожжешь: леса нет. А везти дрова по тем тропам-оврингам дураков нет. Разве только на себе нести, так ведь с работой идем. Да и много ли на себе унесешь! А кизяком еду греть долго. К тому же собирают почти весь кизяк местные жители. Вот мы и везли с собой две паяльные лампы. А бензин в двух здоровенных канистрах вьючили на специально арендованного для этой цели ишака. Его так и прозвали — Бензовоз. Курить возле него не разрешалось. Так вот и решали топливную проблему.

Однажды вечером стали мы на ночлег. На Бартанге выбрать место для ночлега трудно: кругом или откосы к реке, или пойма сырая, а то и заливаемая. В тот раз нашли площадку, что-то вроде расширения тропы метра на три. Решили, что ночью все равно никто не пойдет. А то мы заняли все пространство тропы, и, ежели бы кто пошел, ему надо было бы через нас перешагивать. Это я к тому, что мимо нас никто незаметно пройти по долине ни вверх, ни вниз не мог. Ключевая позиция.

Сварили еду, сидим едим, лампа ревет под чайником, уютно так... И тут Бензовоз, почуяв кого-то, заорал. Из темноты подходит к нам старик. Палка из иргая, чалма, седая борода, пиджак бумажный, брюки заправлены в джурабы и сыромятные пехи, в руках узелок. Таких

стариков тут сколько угодно, на них и внимания-то не обращаешь: поздоровался — и дальше.

Этот дед тоже руку к сердцу: «Салом аллейкум». Мы, понятно, тоже его вежливо приветствуем: «Аллейкум бар салом». Я ему и говорю: «Садись, бабай, с памп». Сел. Налили ему миску нашего варева. Я предупредил: «Только еда у нас, бабай, экспедиционная: концентраты да консервы». А дед мне и отвечает на чистейшем, без акцента, русском языке: «Воленс-ноленс, милый, я же не прошу у вас индейку с орехами». Я аж поперхнулся. Ну, думаю, не иначе шпион. Чтобы местный дед так вот «воленс-ноленс» говорил — не может этого быть. А старик аккуратно так из мисочки ест. Потом я насчет шпиона мысль оставил: это же совсем дураком надо быть шпиону, чтобы так разговаривать. Вряд ли уж совсем дураков посылают. Начинаю деликатный разговор, уже на «вы»: «Откуда, говорю, вы так хорошо русский язык знаете?» Дед усмехнулся, понял мои сомнения и протянул мне паспорт, сказав, что долго жил в России. Паспорт оказался в полном порядке: местный житель, зовут Сафарак (фамилии не помню), прописан в кишлаке, что в двадцати километрах отсюда, год рождения 1875-й. Стало быть, ему восемьдесят лет. Молодец старик: сухой, подвижный такой, никак восьмидесяти не дашь.

Тем временем наши рабочие начали со стариком разговор пошугнански. Тот степенно отвечал им. А я все никак не мог отделаться от сомнений. Ну, молодые местные ребята отлично говорят по-русски, бывает, что и вовсе без акцента. Но старики, как правило, еле-еле фразы вяжут, их и понять-то трудно. А этот мало того что без акцента, так еще и говорит интеллигентно. К тому же эта индейка с орехами. Я и сам не помню, ел ли такое блюдо, а он... тоже мне аристократ.

Старик, разговаривая с ребятами, нет-нет, а поглядывал на меня. А я на него исподтишка. Потом он и говорит мне: «Не ломайте голову, молодой человек. Вы про Михаила Ефремовича Ионова слышали? Так я у него с 1893 года работал». Тут уж я не отстал от старика, пока он не рассказал нам в общих чертах свою биографию. Потом вопросами его засыпали. В итоге вырисовалось следующее.

В 1892 году на Памир прибыли части от Ферганского округа под командованием полковника Михаила Ефремовича Ионова. Ионов организовал Памирский пост, который теперь зовется Мургабом. Уже через год отряд Ионова направился вниз по Мургабу и в Бартангскую

щель. Сарезского озера тогда не было, и тропа, хоть и трудная местами, шла тогда до самого Кала-и-Вамара. Теперь это Рушан. Места отряду были незнакомы, и проводником вызвался Сафарак, которому было тогда восемнадцать лет. Вызвался добровольно: в Кала-и-Вамаре тогда стояли афганские аскеры, причинявшие жителям долины много зла, и на русский отряд смотрели как на избавителей.

Места Сафарак знал отлично: сызмальства ходил в горы со своим отцом-охотником. С отрядом попал в Мургаб к Ионову. Тот зачислил парня в отряд, велел выдать обмундирование, поставить на довольствие. И стал Сафарак служить. Ходил с отрядом в Бахан, вязал вместе с казаками английских лазутчиков, перебрался с Ионовым в Хорог, жил там на территории военного поста. Часто приходилось ему водить по горам экспедиции или просто специалистов. То военного врача сопровождает в поездке, то гражданского статистика, то ботаника Б. А. Федченко с группой в Андероб везет, то с этнографом М. С. Андреевым по Пянджу ездит.

Со временем стал Сафарак в отряде просто необходимым человеком. Он был быстр, смышлен, неприхотлив и исполнительен. За годы жизни в отряде выучился он не только хорошо говорить по-русски, но и читать и писать. Выучил немного и французский. А когда началась мировая война, присвоили Сафарaku звание прапорщика. Стал он вхож в офицерское собрание. Там тоже кое-чему подучился. А когда началась революция, попал Сафарак в Красную Армию, воевал с басмачами, под Термезом ранен был, снова воевал. И занесла его военная судьба на Урал, в Златоуст. Там он наконец-то женился, обзавелся семьей и вскоре перебрался в Тверь, где жили родственники жены. Работал вольнонаемным в военкомате. Скучал он о родных горах, но жена ни в какую туда ехать не соглашалась. А в войну, уже в Отечественную, вся семья погибла. Не одновременно и не в одном месте. После войны он еще некоторое время разыскивал, не осталось ли кого в живых. А когда убедился, что остался один, вернулся в родной кишлак. Там уже не было никого, кто бы его помнил. Получает пенсию. Доживает свой век там, где родился.

Я стал расспрашивать старика о тех давних временах. Он помнил многое и многих. Знал ботаников С. И. Коржинского, Б. А. Федченко и Н. И. Вавилова, лингвиста И. И. Зарубина, географа Н. Л. Корженевского, топографа М. И. Чейкина, агронома

Д. Д. Букипча, геолога Д. В. Наливкипа. Видел своими глазами Свена Гедина и Аурелия Стейна, Михаила Фрунзе и Павла Дыбенко.

Я поинтересовался, зачем нужно было возвращаться в далекий кишлак, ведь легче жить в городе. Старик грустно посмотрел на меня и сказал, что жить можно где угодно, а умирать надо на родине...

Рассказчик умолк. Мы еще долго сидели, каждый по-своему мысленно перебирая чужую жизнь, такую долгую и необычную.

## ***РАССКАЗ О ХАЙТСКОМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ***

То лето было удивительно жарким. Реки вздулись, и однажды половодьем снесло часть автомобильной дороги. Не удивительно поэтому, что в один из вечеров разговор на лагере зашел о стихийных бедствиях. Особенно много говорили о половодьях, селях, оползнях и землетрясениях — наиболее частых и губительных стихиях Памиро-Алая. Один из рассказов был наиболее завершенным.

Рассказчик разгреб пятерней бороду, закурил и начал говорить.

— Летом 1949 года мы кинули жребий — какому отряду какой район покрывать съемкой. Мне достался Хаитский район бывшей Гармской области. В общем-то мне было все равно: я только начинал работать в Таджикистане и сравнительная ценность того или иного района мне не была ясна. Отряд укомплектовали почти целиком в городе: почвовед Тамара Петровна, только что прибывшая из Саратова по распределению молодых специалистов, геоботаник Виктор Маков, рабочие Камал и Миша, а еще двоих рабочих должны были взять на месте. Начальником был я, и было мне в те времена двадцать два года.

Добрались мы до Хаита, сняли там кибитку с садиком, оставили в ней часть груза, оформили еще двух парней — Расула и Оджину рабочими, наняли десяток ишаков, распрощались с Камбарали, и через несколько дней наш караван уже двигался вверх по долине Немана. Восьмого июля нас основательно потрясло. Ишаки остановились, сверху посыпались камни. Это было первое в моей жизни землетрясение, и я не сразу понял, что именно происходит. Когда все кончилось, пошли дальше. В тот же день перебрались по шаткому мостику через Неман на правый берег, вышли по верхней тропе к отличной зеленой площадке и там разбили лагерь. Место это было

удивительно красивым. Сверху нависали скалы, из-под которых бил родник, а метрах в трехстах внизу шумел Неман. Расставили палатки, распаковали вьюки. Обнаружилось, что забыли на базе гербарную бумагу, без которой работать нельзя. Я расшумелся на Виктора и рабочих. Все это по молодости лет, конечно. Сейчас орать избегаю. Говорят же таджики, что если бы рев имел цену, то самым дорогим животным был бы ишак. Вот я тогда и орал, как ишак, хотя, конечно, история с забытой бумагой — чистейшее разгильдяйство. Оджина вызвался вернуться в Хаит за бумагой, Расул пожелал сопровождать его. Оба они жители Хаита, и, хотя двоим там делать было нечего, я отпустил обоих, чтобы как-то загладить свой срыв. Кабы знать, к чему это приведет!

Весь следующий день мы возились с устройством лагеря. Решили сделать его базовым на целый месяц. Ребят с бумагой я ждал десятого к обеду. В этот день рано утром я брился. Когда одна щека была уже выскоблена, меня сбило с ног. Впечатление такое, будто ковер из-под ног выдернули. Кругом что-то гудело. Хотел встать на четвереньки, но и тут меня свалило набок. Кое-как дотянулся до полевой сумки с казенными деньгами и топографическими материалами, кинул ремень через плечо, сгрел за ствол карабин и выполз из палатки.

Кругом творилось черт знает что. На нашу площадку, перелетая через скалу, сыпались камни. Склоны, казалось, дымились. Я что-то закричал и на четвереньках, боясь, что с ног собьет, кинулся под скалу. Это было единственное место, куда не падали камни. Вся моя команда уже была там. Когда я добрался до скалы, все стали подползать ко мне поближе. Я закричал, что надо рассредоточиться, так как иначе может завалить всех сразу. Но никто и не подумал отодвинуться от меня. Вот тогда-то я и понял, что я начальник, что от меня чего-то ждут, надеются на меня, что ли. Впрочем, все это я, наверное, осмыслил потом.

Сколько времени продолжалось землетрясение, сказать трудно. Минуты две-три, по-видимому. За эти минуты наш благоустроенный лагерь был уничтожен начисто. Палатки почти полностью были завалены глыбами размером с хороший письменный стол. Из восьми ишаков живыми остались только три, но и у тех были переломаны спины или ноги. Несчастные животные кричали как-то не по-ишачьи — длинно и пронзительно. Камал сказал, что надо их пристрелить,

чтобы не мучились. Я протянул ему карабин и отвернулся. Прогревели выстрелы. Крики прекратились. Бросилось в глаза лицо Виктора, густо усыпанное веснушками. Удивился: раньше я этих веснушек не замечал. Потом понял, что Виктор побледнел.

Потом мы огляделись. Узнать окрестности было трудно. Зеленые склоны были исполосованы красными бороздами. Это сползла дернина. Оказывается, склоны тогда не дымились, а пылили от оползавшей дернины. Ясман внизу вздулся. Через час по нему поплыли рамы, двери, трупы лошадей и прочего скота. Нижнюю трону затопило. От моста, по которому мы переправились через Ясман, не было и следа. Похоже было, что река внизу подпружена. Подземные толчки, не такие, правда, как тот катастрофический, все время продолжались. Сначала мы пугались, потом привыкли.

Из нас никто не пострадал, если не считать ссадин и синяков. Ставшую грязной мыльную пену со щеки я стер. Добриваться было нечем. Подвели итоги. Стало ясно, что о работе не может быть и речи. Удалось выкопать десятка три сухарей да кое-что из имущества. Акт о списании решили составить потом, а пока — выбираться в Хаит как можно скорее: там видно будет. С собой велел взять только самое необходимое, остальное бросить. Сухари разделили, съев часть из них на завтрак. Каждому досталось по три штуки. По пути рекомендовал не пить воду, чтобы двигаться поскорее. Пошли...

Через час заметил, что Тамара Петровна отстает. Похоже, рюкзак у нее тяжелый. Велел Камалу взять рюкзак Тамары Петровны, а ей отдать свой, в котором гревели кружка с ложкой, а весь остальной объем занимал ватник. Он при мне впихивал его туда. Еще через час стал отставать Камал, здоровый парень, сильный и крепкий. Стало ясно, что рюкзак тяжел непомерно. Остановил всех, сказал Тамаре Петровне, что в силу особых обстоятельств я просмотрю ее выкладку. Она оскорбленно дернула плечом: «Пожалуйста!» Сначала из рюкзака появился тяжеленный чугунный казан, в котором готовили еду на всю команду. Поскольку еды все равно не было, казан тащить было бессмысленно, и я тут же пустил его вниз по склону. Потом вытащил из рюкзака чугунную же сковороду, тоже коллективного пользования. Тоже выкинул. Затем последовал «Граф Монте-Кристо» без конца. «Граф» полетел вслед за сковородой. Каждый мой бросок Камал воспринимал со вздохом облегчения. Выброшено было еще много



всего, но, когда я выкинул стоптанные парусиновые туфли, которым даже по тем временам место было на помойке, Тамара Петровна легла на рюкзак и сказала, что больше она ничего не даст мне выбросить. Я не стал спорить: выкладка и так пришла в относительную норму. Никто во время этой сцены не смеялся.

Каждому роднику Тамара Петровна кланялась. В желудке у нее плескалось так, что слышно было всем. Она взмокла, тяжело дышала, но на мои просьбы пить поменьше отвечала презрительным пофыркиванием. Свои сухари она съела сразу и через некоторое время сообщила мне, что хочет есть. Я отдал ей один сухарь. Через час она снова захотела есть. Я отдал ей второй сухарь, а оставшийся тут же съел сам. Потом ее подкармливали уже другие.

На второй день пришли в Хаит. На месте цветущего поселка высился грязный каменистый вал. Оказывается, Хаит не только растрясло, но и засыпало селом, вырвавшимся из ущелья Обидарахауз. Нас встретила цепь милиционеров, велевших обходить какое-то место стороной. Потом я узнал, что в этом месте засыпало банк, оказавшийся на шестидесятиметровой глубине. Пошли вниз. Там, на конусе выноса, остался участок садов, оттуда слышался шум, а потом мы увидели, что весь этот пятачок забит людьми.

Протолкались к столам, стоявшим под открытым небом. Заявили о прибытии. Нам откровенно обрадовались: мы числились пропавшими без вести. На телетайпе мне вручили кучу радиограмм. Две предназначались мне. Служебные. Остальные были от мамы Тамары Петровны: «Поймите сердце матери, сообщите правду» — и все в таком же духе. Отдал эти радиограммы Тамаре Петровне, просил ее успокоить свою маму и передать привет от меня.

Началась какая-то странная жизнь. В Хаит пробивалась колонна автомашин, в составе которой была и наша. Ее вел Камбарали. Это я узнал из радиограммы. Но хотя дорогу восстанавливали, дело шло медленнее, чем хотелось бы. О еде беспокоиться не приходилось: нас бесплатно кормили на полевых кухнях. Крыши над головой, правда, не было, но к чему она летом? Спали мы под грецким орехом, который застолбили в первый же день. Под утро укрывались ватниками. Просыпался я от странных звуков: ритмичное шелканье и тяжелое дыхание. Это Виктор учил Мишу и Камала танцевать чечетку. Все трое с совершенно идиотским выражением лиц выбивали на плоском

камне чечеточный ритм. Я поворачивался на другой бок, но уснуть обычно не удавалось. Виктор сипящим шепотом говорил: «И-и раз!» — и начинался паровозный ритм чечетки. Отличная вещь — молодость!

В первый же день я попытался навести справки о Расуле и Оджине. Наша база была погребена под селевым валом, их кибитки тоже были разрушены и покинуты. Только в милиции, куда я отнес паспорта ребят, сидевший под деревом дежурный, глянув на фотографии, сказал, что девятого вечером эти парни были на танцах, что вообще-то они, видимо, погибли, так как весь тот край, где они жили, разнесло. Кабы знать...

Бездельничанье опостылело. Когда были составлены и оформлены все акты на списание имущества отряда, я пошел к тем столам, где заседала и оперативно работала правительственная комиссия по оказанию помощи пострадавшему от землетрясения населению. Возглавлял комиссию зампред Совета Министров Таджикистана товарищ Саломатшоев. Я сказал ему, что здесь нас несколько грамотных людей, — не можем ли мы быть полезными? Саломатшоев обрадовался и тут же расписал нас по подкомиссиям. Камал стал кем-то вроде курьера, а Тамара Петровна категорически отказалась от такой работы, целыми днями лежала под орехом и ныла. Ох, как она нам всем надоела! Через пару дней активной работы в комиссии я спросил товарища Саломатшоева, нельзя ли отправить самолетом одну нашу сотрудницу. Я знал, что самолетами эвакуируют только раненых, и на успех не рассчитывал.

— Она что, ранена? Больна? — спросил Саломатшоев.

— Не то чтобы ранена, — замямлил я, — она того...

И я повертел пальцем возле виска.

Товарищ Саломатшоев покосился на меня и велел включить Тамару Петровну в список на третий рейс.

В обед я сообщил Тамаре Петровне, что к вечеру она полетит домой к маме.

— Только вот что: вас включили в список под видом сумасшедшей, так вы уж меня не подводите. Ну что вам стоит время от времени выкрикивать «ку-ку» или еще что-нибудь...

— Или кукарекать иногда, — подхватил Миша.

Предложения сыпались одно за другим. Мы были молоды и беспощадны. Поток острот пришлось приостановить, рыкнув на ребят. Но Тамара Петровна на этот фейерверк не реагировала. Она была счастлива так, что мне стало даже совестно. Когда она улетела, я вспомнил казан и «Графа Монте-Кристо» и подумал, что, может быть, не так уж я и обманул товарища Саломатшоева.

Вечером была лекция. Читал ее прилетевший из Душанбе сейсмолог. Тема — «Причины Хаитского землетрясения». Слушали невнимательно. Каждый думал о своем. Лектор стоял на бревне и говорил, что все произошло правильно, по науке. Потом его спросили, может ли в ближайшее время здесь же произойти сильное землетрясение. Вопрос очень актуальный. Лектор ответил, что напряжение все вышло и теперь можно спать спокойно. В это время тряхнуло так, что лектор слетел с бревна, а публика разразилась хохотом. Смеялся и лектор, правда несколько смущенно.

А еще через день пробила в Хаит колонна. Встречали ее криками «ура», водителей качали. Прибыл и Камбарали. Обнял нас всех, поинтересовался, где Тамара Петровна, погоревал о погибших Расуле и Оджине, порасспрашивал о подробностях событий...

Ну вот и все. Через две недели я уже работал в другом районе и с другим отрядом. Тамара Петровна уволилась и уехала с мамой в Саратов. Ребят тоже раскидали по другим отрядам. Говорили, что по соображениям производственной целесообразности.

Недавно я побывал в Хаите. Там стоит памятник погибшим. Я искал тот орех, под которым мы жили, но так и не нашел. Виктор сейчас в Ташкенте живет, кандидат наук. Миша и Камал куда-то уехали. Иногда встречаю Камбарали. Он на пенсии. А я вот здесь. Хожу пока...

## ***РАССКАЗ О НАУЧНОЙ ЧЕСТНОСТИ***

Памир — страна чудес. Роскошно одетый человек, едущий в собственной машине, может оказаться, например, заведующим складом, а бредущий в драной штормовке по горам, обгорелый на солнце и обросший путник — академиком. И не каким-нибудь, а самым настоящим, скажем ректором ЛГУ. Или человеком,

расщепившим атомное ядро. Гость, который провел у нас на лагере всего одну ночь и ушел поутру с огромным рюкзаком за плечами, к великому изумлению ленинградского студента-практиканта, оказался членом-корреспондентом союзной Академии, физиком, о котором студент слыхивал и раньше, но никак не предполагал, что тот известный ученый и этот молодой милый собеседник, которого студент запросто называл Алешей, — одно и то же лицо... Узнав от меня о положении ночного гостя в научной иерархии, студент слегка побледнел. На научных сотрудников, других гостей и лаборантов это сообщение подействовало вдохновляюще. От ушедшего в поход гостя разговор перекинулся на тему о научных карьерах, а от них естественным образом перешел к самой науке. После того как недельные сборы были приведены в порядок, а солнце скрылось за отрогом хребта, разговор о науке продолжился. Когда, казалось, стала иссякать даже эта неисчерпаемая тема, один из гостей завел речь о научной этике, о честности в науке и так далее. Разговор оживился. Потом инициатива перешла к мягкому баритону кандидата наук, находившегося в самом начале того возраста, который принято называть «в годах».

— Это было давно, — начал рассказчик. — Я был молодым специалистом и, как всякий молодой специалист, стремился не только к самоусовершенствованию, но и к тому, чтобы как-то укрепить свое положение в научном мире. А так как самый подходящий способ такого укрепления — это публикация научных статей, я старался опубликовать их побольше. Несколько статей я соорудил из уже защищенной диссертации. Что-то написал и на новом материале. Главное же, я считал публикации своего рода самоцелью. Пусть в статье маловато материала, но, если статья опубликована, это уже этап в работе. Опубликованные статьи укрепили мой престиж в глазах начальства, явно ко мне благоволившего. Да и самому было приятно рассылать коллегам оттиски своих публикаций с дарственной надписью. С такой вот направленностью я и жил, вполне преуспевая. С интересом и энергией работал в экспедициях. Ведь экспедиции — это научный материал для статей, а статьи — ступеньки в будущее. Во время экспедиций я многое повидал, кое-что осмыслил, додумывался и до стоящих вещей. Словом, работал честно, но с явной тенденцией публиковать чуть ли не все, что можно было оформить в статьи,

заметки и сообщения. И неизвестно, что бы из меня в конечном счете вышло, если бы не одна история, тоже связанная с публикацией...

Рассказчик надолго замолчал, похоже, задумался. Все сидели тихо, ожидая продолжения.

— Так вот, как-то прочел я в одной научной статье, что при сильном землетрясении в горах вдоль одного тектонического разлома сейсмические толчки были так сильны и так узко направлены, что выбросили на склоне породу, как взрывом снаряда, в разные стороны. После этого образовались совершенно круглые, нанизанные на линию разлома воронки, превратившиеся после заполнения их водой в озера. Прочитав статью, я вспомнил, что во время одного маршрута в горах я видел что-то похожее: три запрудных озера следовали одно за другим вдоль ущелья, по которому протекала речка, переливавшаяся из одного озера в другое.

Поднял полевой дневник, проверил. Все точно. И район сейсмически активный, и вокруг этих озер много обломочного материала, и сами озера — это было главное — идеально круглые, что отмечалось и в дневниковой записи, и в нарисованной там же схеме. Сопоставил все это с тектонической картой. Опять все точно: вдоль ущелья был нарисован тектонический разлом. Сомнений не оставалось. Это был тот самый случай образования горных озер сейсмическим выбросом. Случай редкий, и он заслуживал сообщения в научном журнале.

Я быстро написал заметку и назвал ее «О частном случае образования завальных озер в сейсмически активных горах». Заметку приняли к печати, и через полгода я уже держал в руках ее корректуру. Оставалось только ее выверить, подписать, отнести в редакцию, а потом ждать оттисков. Корректуру я выверил и подписал, а по дороге в редакцию зашел в одну геологическую лабораторию повидать своего приятеля. Того на месте не оказалось, мне сказали, что он скоро вернется, я решил обождать и сел за его стол. На столе вразброс лежали аэрофотоснимки. Праздно рассматривая их, я вдруг почувствовал, что один снимок очертаниями речной сети что-то мне напоминает. Я глянул на индекс, на висевшую перед столом карту и понял, что передо мной аэрофотоснимок как раз того района, где расположены озера, о которых я написал заметку. Я нашел на снимке

эти озера, поглядел на них повнимательнее и... не стал дожидаться своего приятеля.

В редакцию я тоже не пошел, а побрел домой, заперся и тогда только схватился за голову. На снимках было ясно видно: все, что я написал, — чистейшая чепуха. Озера казались круглыми только с земли, а на аэрофотоснимке они были угловатыми. Это уже исключало предположение, что они являются воронками от выброса. И обломочный материал вокруг озер был размещен неравномерно. Более того, на фотографии были видны обычные запруды, образованные самыми банальными обвалами, ничего общего с сейсмическим выбросом не имевшими. Словом, статья еще не вышла, а уже никуда не годилась: в ней содержался скороспелый и ложный вывод. Публиковать ее нельзя, это ясно. Но как изъять статью, раз она уже набрана, сверстана, даже номера страниц журнала проставлены? Затрачен труд типографии, и никто эту статью без достаточных оснований не снимет. А излагать эти основания — значит позориться. Что делать?!

Я побежал к человеку, которого считал своим другом. Он выслушал меня, расспросил о подробностях и предложил... сделать вид, что я не видел тех аэрофотоснимков. Ведь мог я не зайти в ту лабораторию? Мог. Мог застать своего приятеля и не рассматривать от скуки его стол? Мог, конечно. Ну и пусть статья выходит в свет. Скорее всего никто ничего и не заметит: кому придет в голову рыться в тысячах снимков? А тот снимок, когда статья появится, наверняка уйдет уже в фонды. А если кто и увидит тот снимок и сопоставит с моей статьей, что маловероятно, то вряд ли последует публичное опровержение по такому частному вопросу. И последует, так ведь никто не знает, что я видел снимок, а на добросовестное заблуждение имеет право каждый...

Вот так мой друг мне все и разобъяснил — спокойно, рассудительно, даже логично... Но я возмутился. К счастью для себя же, возмутился. Я стал кричать, что наплевать мне на всех и на него тоже, если я сам знаю, что факты в статье неверно истолкованы. Кричал, что я не жулик, а исследователь, что для меня важнее всего истина, что наука — дело чистое. И так далее. Мой друг пожал плечами и отвернулся, а я хлопнул дверью и... больше в этом доме не бывал.

Прослонявшись еще час по тротуарам, я пошел в Академию, успел на прием к вице-президенту, который был редактором журнала, и все ему рассказал, краснея и заикаясь. Вице-президент слушал хмуро. Его крутой нрав был всем известен, и я ожидал самого худшего, хотя и не представлял себе, в чем это самое худшее может заключаться. Потом вице-президент спросил, кто еще знает об этом. Я сказал, что знает один мой знакомый, к науке отношения не имеющий. Тогда вице-президент повысил голос:

— А вы знаете, сколько вам придется теперь заплатить за переверстку журнала?

Я сказал, что не знаю, но заплачу, если и не сразу, то по частям. Вице-президент устало откинулся в кресле и велел написать на его имя и под его диктовку заявление: «...по вновь открывшимся фактам я установил, что... прошу изъять сверстанную статью из номера... обстоятельства изложены главному редактору журнала вице-президенту... подпись». Вице-президент перечитал написанное и наложил резолюцию об изъятии статьи с последующим утверждением на редакционно-издательском совете и об отнесении расходов по переверстке на счет... Президиума Академии. Дал мне прочесть резолюцию и сказал:

— Вам все ясно? Тогда идите. И запомните этот случай. Желаю успехов. До свидания.

...После этого я года два вообще ничего в печать не сдавал, так был потрясен своим промахом, объяснением с вице-президентом, а главное — гнусным предложением бывшего друга. А когда все-таки написал очередную статью, так в ней все было выверено точнейшим образом. С тех пор публикуюсь не очень часто, а если пишу, то только то, в чем совершенно уверился на богатом материале. Вот такая история...

Рассказчик поежился от вечернего холода, погасил сигарету и пошел к себе в палатку. Все молча разошлись.

## ***РАССКАЗ О ПРИЗВАНИИ***

В тот день я отчитал за нерадивость студента-практиканта. К вечеру все его промахи были исправлены, но я, видимо, перестарался,

и за ужином все сидели с испорченным настроением. Я начал было рассказывать какой-то случай из своей студенческой жизни, но мой рассказ, видимо, носил слишком назидательный характер, и ожидаемого эффекта не получилось. Я уж собрался было на этом и закончить неудачный вечер и дать отбой, но в разговор вступил гостивший у вас на лагере мой друг, ветеран горных экспедиций.

— Раз уж разговор зашел о студентах, расскажу вам одну историю. Дело было давним жарким летом в Душанбе. Я тогда готовился к экспедиции в Дарваз и комплектовал отряд. В вестибюле института ко мне подошел долговязый парень, назвался Колей, сообщил, что он студент второго курса естественного факультета здешнего университета, что очень любит науку, и попросил взять его в экспедицию.

Я поинтересовался, какую область науки конкретно он любит.

— А я еще не знаю, — ответил он. — Я люблю науку вообще.

Ответ показался мне чрезмерно многообещающим, и я предложил Коле должность сезонного рабочего — самую низкую в экспедиционной иерархии. Думал, что он откажется и разговор тем самым будет исчерпан. Да у меня и в самом деле не было уже других вакансий. Но Коля согласился с таким энтузиазмом, что мне даже неловко стало за свое намерение отделаться от него. Я поглядел на его обтрепанные брюки и начал говорить, что зарплата сезонного рабочего невелика, но полевая нагрузка...

— Какое это имеет значение? — прервал меня Коля. — Это же наука!

Короче говоря, Коля поехал с нами. Он усердно выполнял свои неинтеллектуальные обязанности, и, даже когда чистил коней, глаза его сияли чувством высокого служения науке.

Однажды он робко попросил для себя тему, которую он мог бы выполнить для курсовой работы. Подумав с минуту, я изложил ему задание:

— Вот вам инструкция по проведению гидрологических работ, вот секундомер, возьмите в бауле поплавки и у всех рек, где мы будем стоять, поставьте на берегу вашего друга Вахида, отмеряйте от него мерной лентой сто метров вверх по руслу, бросайте в воду поплавков, включайте секундомер и, когда Вахид махнет вам, что поплавков



проплывает мимо него, смотрите на секундомер. Дальше чистая арифметика. И получите скорость течения. Вопросы есть?

Коля спросил, как вылавливать из бурной реки брошенный поплавок. Пришлось объяснить, что поплавки не ловят, а списывают после разового использования. Других вопросов не было.

Парень тут же радостно кинулся к баулу, взял поплавок, мерную ленту и мобилизовал Вахида. Через полчаса Коля пришел ко мне, чуть не плача. Выяснилось, что при первом же замере он размахнулся, бросил в кипящую воду горной реки... секундомер и стал смотреть на поплавок. Получив задание, он так заспешил сделать первый замер скорости течения, что не заглянул в инструкцию. А в ней, между прочим, предписывалось вешать секундомер с помощью шнура на шею. Вот так. Другого секундомера не было, тема сорвалась, и Коля ходил как в воду опущенный.

Через неделю я отправил его в Душанбе с наказом хозяйственного характера. Это всего триста километров, и Коля скоро вернулся. Выполнив все поручения, он привез с собой также спирт, формалин, сачок, морилки и кучу всяких других принадлежностей для энтомологических сборов. Со всем этим снаряжением Коля стал ловить всякую живность.

Лучше бы я купил ему тогда за свой счет новый секундомер! Я не знаю, сколько видов всяких беспозвоночных живет в Дарвазе, но думаю, что много. Мне говорили, что одних жуков или бабочек тысячи видов. Но Коля почему-то возлюбил скорпионов, фаланг, пауков и прочую пакость. По ночам он ловил их на свет фонаря, днем, отрываясь от прямых своих обязанностей, бегал с сачком. Его единственные брюки истрепались снизу так, что он вынужден был закатать их до колен.

Выловленную живность Коля морил не сразу. Он запикивал в стеклянную банку скорпионов, часами наблюдал за их поведением, записывал что-то в тетрадь, потом ставил банку в палатку, покрывал ее этой тетрадью, а ночью банку во сне часто опрокидывали, скорпионы расползались, я поднимал крик, начинался отлов беглецов. После таких случаев долго не удавалось заснуть, особенно если в банке числилось скорпионов больше, чем их удавалось найти в палатке и изловить.

Сначала я просил Колю по-хорошему, уговаривал его выставлять банки с живностью на ночь из палатки. Но Коля боялся, что банку могут опрокинуть собаки и весь улов расползется. Тогда я выселил Колю из своей палатки, и он ушел жить в другую, к рабочим. Этим я избавился от непосредственной опасности укуса, но не от бессонницы. Когда банка со скорпионами опрокидывалась, в той палатке поднимался такой гвалт, что я все равно просыпался, вылезал из мешка и шел узнавать, чем кончилось дело.

Наконец все это мне надоело, и я строжайшим образом потребовал от Коли соблюдения техники безопасности. Он поклялся, что впредь будет с вечера морить скорпионов формалином. При этом он сунул мне под нос банку с десятком скорпионов и предложил полюбоваться исключительными экземплярами. А ночью... разбежались из банки уже фаланги. Через ночь в палатке ловили уже каких-то других пауков... Словом, жизнь отряда стала по ночам чрезмерно оживленной, а днем все ходили невыспавшиеся и вялые. Надо было что-то предпринимать...

Я собрал производственное совещание отряда, изложил суть дела, напомнил, что энтомология не входит в программу наших работ, и предложил Коле альтернативу: или кончать с зоологией, или... увольняться. Коля сидел красный и смущенно крутил в руках банку с какими-то пауками. Все молчали. Потом слова попросил Вахид. Он спал в той же палатке, что и Коля, и я ожидал, что он поддержит мое предложение. Когда Вахид волновался, он говорил по-русски с сильным акцентом.

— Зачем гонять из отряда Колю? — сказал он, — Пускай ловит. Мы не жалуемся тебе, начальник. Коля много узнавать хочет, это хорошо. Никого пауки не кусали, все в порядке. Пускай Коля у нас в палатке живет, мы довольны. А если Коля ночью устает, я за него утром дежурить буду. Зачем так ругать Колю, пускай ловит. У меня в мешок никогда каждым (скорпион) не ползал, пускай Коля ловит.

И так далее. Вахида поддержали и другие жители палатки, и все в таком тоне, что казалось, будто нет для них большей радости, чем вылавливать ночами скорпионов из своих спальных мешков. Я бросил взгляд на Колю. Тот сидел с отсутствующим видом, влюбленно глядел на своих пауков и... счастливо улыбался. Настаивать на своем предложении я уже не мог. Мне было неловко от того, что рабочие

разглядели Колю лучше, чем я. Но чтобы ребята ночами высыпались и не выбивались из рабочего режима, я настоял на том, чтобы отселить Колю в отдельную палатку. На том совещание и кончили.

У нас была одна старая списанная палатка, вся рваная. Ее использовали в качестве попоны под вьюк. Вахид выстирал ее, отремонтировал, поставил на оттяжки, помог Коле перебраться со всеми банками на новое место. Колина палатка превратилась в своеобразную энтомологическую лабораторию. Я был рад, что все так обошлось, но еще больше про себя радовался тому, что Коля не увлекся кобрами.

Рассказчик умолк. Кто-то спросил:

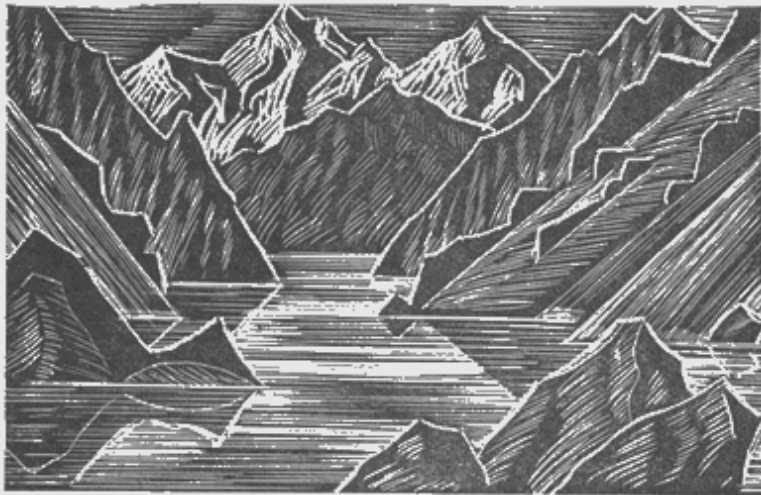
— А дальше что с Колей стало?

— Ну, что должно было, то и стало. Начал специализироваться в университете по энтомологии. Со следующего года он уже ездил в экспедицию с зоологами. Окончил университет. Потом стал кандидатом наук. Может, сейчас уже доктор, не знаю. Работает в Казахстане. Слышал, что заведует там лабораторией в республиканской Академии наук. Нашел человек свое призвание, вот и все.

Настроение у всех потеплело. По палаткам разошлись душевно убоготоренными.



# МЫ С ПАМИРА



Это было в феврале 1960 года. Актальный зал Киевского университета заполнен до предела. Шло пленарное заседание съезда Географического общества СССР. На трибуне стоял легендарный Папанин. Он говорил об охране природы. В те годы эта тема еще не была столь популярной, как сейчас. Иван Дмитриевич говорил страстно и образно. Зал слушал внимательно. Временами возникал шум сочувственного понимания.

В перерыве делегаты и гости окружили Папанина. Протолкался к нему и я. Улучив минуту, стал расспрашивать Ивана Дмитриевича о некоторых положениях его доклада. В разговоре упомянул, что когда-то я работал «по его ведомству», в Центрально-Таймырской экспедиции Арктического института. Папанин оживился, разговор пошел о подробностях тех давних дел. К собеседнику он обращался по старой партийной привычке на «ты». Спросил меня:

— А сейчас где работаешь, браток?

— На Памире я...

— На Памире? — разочарованно протянул Иван Дмитриевич. —

Ну что ж, и там люди живут...

И, утратив ко мне всякий интерес, повернулся к кому-то другому.

Арктический патриотизм Ивана Дмитриевича понятен: посвятив жизнь Северу, он, вероятно, убежден, что интересные люди встречаются только в Арктике. Но я уверен, что в трудную арктическую действительность прекрасно вписались бы и многие люди, которые живут на Памире. Их около ста тысяч постоянных. Да несколько тысяч «сезонных» — шоферов, работников экспедиций, туристов, спортсменов. Эти «сезонные» пребывают на Памире от нескольких дней до семи-восьми месяцев одновременно. Иной раз и зимуют там, и вообще задерживаются на несколько лет. Этот режим, бывает, длится годами, десятилетиями. Он оказывает влияние на характер людей, стиль работы и жизни, на взаимоотношения и систему ценностей. В конечном счете постоянного жителя от такого вот «сезонного» и отличить трудно.

Мне приходилось слышать выражение: «Памирец — понятие нравственное». Это так. И совершенно безразлично, кто он, этот памирец, — местный уроженец или приезжий, сезонный или живет на Памире годами. Но если он памирец в нравственном смысле, то он верен делу и товарищам, честен, щедр, гостеприимен, отважен и великодушен. Ну разве это не те качества, которые обычны и в Арктике? Как и там, низкие качества души и вызываемые ими поступки на Памире глубоко презираются. Как и Арктика, Памир покорен отважными действиями мужественных путешественников и исследователей, тоже приносивших жертвы во имя яркой цели. Как и Арктика, Памир формирует личности и коллективы, способные на большие дела. Я работал в Арктике, с любовью вспоминаю о ней и о моих товарищах по экспедиции, и почти каждый из них мог бы стать памирцем в нравственном смысле.

Бывает так, что давно живущий на Памире человек вдруг оказывается... ну, скажем, не на высоте в отношении тех качеств, о которых я упомянул. Значит, не стал он настоящим памирцем. Здоровая среда выталкивает его: на Памире ему больше делать нечего. А иной раз приедет новый человек, поработает год-другой, и все видят, что он — настоящий памирец. Таким — широкая дорога, душевный прием и надежная рука друзей. Разве не так в Арктике?

Я понимаю, что все сравнения Памира с Арктикой вряд ли правомерны: несопоставимые масштабы, разные природные зоны, иная история, своя специфика. Сравнить можно только людей. Они из

одного теста — полярники и памирцы. Герои есть в истории освоения любой территории. Речь не о героях, а о самых обыкновенных людях, о норме. Как и Арктика, Памир отличается высокой нормой качеств, свойственных людям, которых можно представить самому Ивану Дмитриевичу Папанину.

Собственно, об этом вся эта книга. В последней главе — лишь незначительные дополнения.

## *МАРИЯ ПАВЛОВНА*

Впервые я увидел ее на горной дороге, ведущей из Хорога в Памирский ботанический сад. Перед нашей машиной завиднелась странная фигура — огромный рюкзак на тонких ножках. Гурский стал притормаживать. Когда пыль улеглась, мы увидели за рюкзаком худенькую, очень пожилую женщину. Ее седые волосы беспорядочно торчали из-под старой кепки. Вся она была какой-то очень уж миниатюрной. Особенно по сравнению с рюкзаком. Узнав, что путешественница держит путь к нам в сад, Гурский предложил ей место в кабине. Рюкзак мы подхватили в кузов. По весу он оказался таким же внушительным, как и по размерам.

— И как только она, божий одуванчик, тащила его от Хорога? Ведь километров пять уже отмахала, — пробурчал кто-то в кузове.

В саду нашу попутчицу определили в общежитие. От предложения помочь донести до места ее рюкзак она решительно отказалась. Вечером она пришла к нам представиться. Мария Павловна (фамилии не помню). Из Харькова. Любит путешествовать. Чаще пешком. Она протянула нам паспорт, пропуск в погранзону и туристскую книжку. Просмотрев в ней отметки, мы переглянулись. Оказывается, «божий одуванчик» тащила свой рюкзак не пять, а добрых четыреста километров! Сейчас она пришла из Ишкашима. Это сто десять километров отсюда. Перед этим она прошла еще около трехсот километров разными маршрутами, этапы которых отмечали сельсоветы Восточного и Западного Памира. Вот это да! Наше снисходительное к пей отношение сменилось уважительным любопытством. Мы забросали ее вопросами. Давно ли она так ходит?

На какие средства путешествует? Как организует свои походы? И вот что мы узнали.

Она стенографистка. Бывшая. Теперь на пенсии. Одинока. Ей за шестьдесят. Всю осень и зиму она копит деньги. Экономит из своего пенсионного бюджета, подрабатывает. А летом едет поездом, конечно вагоном самого дешевого класса, до какой-нибудь станции, а дальше идет пешком. Все свое несет с собой. Лет пять уже так, с тех пор, как вышла на пенсию. До этого не хватало времени на походы. Крым, Кавказ, Карпаты, Тянь-Шань. Теперь вот Памир. В рюкзаке у нее огромная банка с гренками, залитыми растопленным салом. Это ее рацион на лето. Трех-четырех ложек этого месива ей вполне хватает на день. Там же в рюкзаке у нее спальный мешок, посуда, альпинистский примус, чай, запас обуви... Нет, она не фотографирует. Зачем? Она просто ходит, смотрит и любит красоту. И запоминает. Воспоминаний до конца жизни хватит. А фотографируют пусть молодые, они еще успеют забыть увиденное...

Мы были совершенно потрясены силой духа этой удивительной женщины. Потрясение готово было вылиться в «гостеприимство с размахом», но... рано утром Мария Павловна уже ушла. Мы даже не знали куда. После этого мы еще несколько дней ходили какие-то просветленные. Потом за делами и походами вспоминали о ней все реже, а там и вовсе стали забывать.

На следующий год она снова была на Памире. Возле одного из перевалов Рушанского хребта ее видели геологи: все тот же рюкзак, те же седые волосы. Потом нам позвонили пограничники. Справились, знаем ли мы такую путешественницу из Харькова, задержанную на одной из застав для проверки и ссылающуюся на нас? По словесному портрету перепутать Марию Павловну с кем-нибудь было трудно. Мы горячо засвидетельствовали знакомство, и Мария Павловна снова ушла в горы. О ней рассказывали: видели там-то и там-то, ходит божий одуванчик... Топ рассказов всегда был чуточку умильным: «Это надо же, а!»

Еще через год она опять появилась в ботаническом саду. Пришла вечером, вся запыленная, обгоревшая на беспощадном памирском солнце. Утром стала спрашивать Гурского о Сарезском озере: как туда пройти? Гурский перепугался. Самый легкий путь на Сарез связан с опасными переправами через реки. Переправы конные, а она

пешком... Куда уж там хрупкой Марии Павловне! Унесет! Он стал ее отговаривать, но безуспешно. Тогда Гурский пошел на хитрость. Сказал, что на Сарез нужен особый пропуск пограничников. На самом деле никакого такого пропуска не требовалось, но это была ложь во спасение. Мария Павловна ушла и больше не приходила. Беспокойства ее отсутствие не вызывало: она всегда появлялась и уходила неожиданно.

Еще через год кто-то из колхозников сказал Гурскому, что видел прошлым летом на верхнем Гунте «смешную бабку с мешком». По описанию нетрудно было узнать Марию Павловну. На традиционный для гор вопрос: «Куда идешь?» — она махнула рукой на север. Как раз туда, где Сарез...

## *ОБЛЕТ*

Воздух стал совсем прозрачным. Здесь так бывает только осенью.

Сентябрь перевалил на вторую половину, маршруты закончились, мы занимались камералкой. Это значит, никуда мы не ходили, а сидели на базе и предварительно обрабатывали собранный за лето материал. Кто-то приводил в порядок гербарий, кто-то рассчитывал урожайность травостоев, а мы с планиметристом гнули спины над геоботанической картой. А чтобы стало ясно, что это за работа, должен сказать, что на участке, который мы картографировали, было выделено более двухсот контуров. Из них редко какой контур имел на карте площадь с этикетку от спичечного коробка, чаще они были размером с ноготь мизинца.

Каждый контур имеет верхний и нижний пределы, потому что он лежит не на плоскости, а на склоне. Одинаковые по растительному покрову контуры закрашивают в одинаковый цвет. Этих цветов на карте больше тридцати. Такой уж он разнообразный, растительный покров Памира. Каждый контур занимает определенную площадь. Ее высчитывает планиметрист. Сидит и водит планиметром по контурам, вглядывается в счетчик через лупу. Если все подсчитано правильно, то сумма площадей всех контуров в точности совпадает с общей площадью района. Как баланс в бухгалтерии. У нас все и совпало, как положено. Единственное, что портило настроение, — это три контура,



никак на карте не закрашенные, поскольку побывать на этих трех высокогорных участках нам не удалось. В двух случаях это произошло потому, что участки были попросту недоступны. Они лежали между отвесными скалами, лезть на которые можно было только со специальным снаряжением. Третий контур был в принципе доступен. Но летом мы не попали туда из-за половодья, а идти на этот массив сейчас — это значит заново готовить весь дальний поход. Да и деньги кончались. И время тоже. Я знал, что из-за этих трех белых контуров карту примут с пониженной оценкой, но делать было нечего. Впрочем, можно было кое-что сделать...

За многие годы работы в здешних горах закономерности распределения растительности были уже до такой степени изучены, что я и без маршрута мог сказать, что за растительность может быть на этих трех участках. Если сопоставить абсолютную высоту, направление склона и его крутизну — а все это было видно по карте, — можно было с девяностопятипроцентной вероятностью закрашивать контуры в нужный цвет. Тогда карта будет принята с хорошей оценкой. Вся загвоздка была в этих пяти процентах, способных свести на нет все предположения. Мало ли что? Сотни мелких, неучтенных обстоятельств могли привести к совершенно другому результату. Например, местные ветры и ориентировка соседних ущелий могли вызвать мощное снегоотложение или, наоборот, обесснежить эти участки зимой. Тогда и растительность окажется не той, что предположена. Так уже бывало. Как-то в гордыне своей я заключил пари, утверждая, что в пригребневой части одного ущелья окажутся типчаковые степи. А там лет двести пасли скот и вместо степей щетинилось колючетравье. Нет, интуиция — это не способ заполнения на карте белых пятен. Придется обойтись без премии.

Счастливые повороты судьбы выручают только достойных. Мы же были достойны: обгорелые носы свидетельствовали о трудовом лете. И судьба не преминула отметить это обстоятельство. За неделю до отъезда с Памира за мной зашла машина геологов. Шофер привез записку: завтра с утра состоится облет, меня приглашают принять участие. Ехать надо немедленно. Через десять минут выехали.

В горах обзор ограничен. Взгляд все время упирается в крутые склоны, скалы, осыпи, зубчатые гребни. В каждодневной ходьбе

видишь только ближайшее окружение. Постепенно теряется общая картина: за деревьями становится невидным лес. Утрачивается ощущение связи между нанесенными на карту контурами. Голая эмпирика, никакого полета мысли. На некоторые участки добраться и вовсе не удастся, как вот на те три, что на моей карте. Короче говоря, наступает такой момент, когда самое время окинуть взором отработанную территорию целиком. Сделать это можно только сверху, с самолета. Вертолет не годится, у него потолок ниже. Вот картировщики и летают над теми местами, где бродили все лето пешком. Это и есть облет. Послеполевой. Бывают облеты и перед началом съемок, для общей разведки. Сегодня же послеполевой облет. Сезон кончается.

Облет — дело дорогостоящее. Нам оно не по карману. Бухгалтерия каждый раз режет мою смету, вычеркивая тысячи, запланированные на облеты. Геологи богаче, и они меня уже в который раз любезно приглашают с собой. «Не имей сто рублей...»

С самого раннего утра мы были уже возле «Антоня». Это АН-6, отличная машина. Самолет имеет кислородное дутье в моторы и забирается вверх до девяти километров, выше всех вершин планеты. Иван Мысленко, первый пилот, торопит нас. Днем воздух прогреется, на Памир потянутся облака, надо спешить, пока холодно и ясно. Забиваемся в салон, усаживаемся каждый возле своего иллюминатора. Проверяем исправность подачи кислорода в маски. Взлетаем. Идем вверх по Гунту на восток. Начинается работа.

Одеты мы все как на полюс. Самолет не утеплен, а на девятикилометровой высоте минус сорок. С 4500 метров натягиваю маску: с кислородом лучше думается. А подумать надо: в облете я корректирую не только карту этого сезона, но и съемки прошлых лет. Еще с вечера договорились, что сначала геологи сделают свою работу над их районами, а под конец выйдем на мои объекты. А не выйдем сегодня, то завтра уж обязательно: облет рассчитан на три дня.

Летим над Джаушангозом. Это ледниковая долина одной из составляющих Шахдару рек. Здесь все мои контуры оказались правильными. Потом идем на верховья Тогуз Булака в верхней части бассейна Гунта. Исправляю две неточности в очертании лугового массива, нанесенного на карту в прошлом сезоне. Зная, что при облете

надо работать быстро, я заранее продумал систему условных знаков и теперь быстро корректирую карту.

Берем курс на север. Дважды облетаем Сарезское озеро, и я успеваю сделать несколько пометок в дневнике на старых профилях. На альтиметре шесть тысяч метров. Идем к массиву Зорташкол. Высота семь тысяч метров. Кислородная маска неприятно пахнет нагретой резиной. От иллюминатора трудно оторваться. Внизу кругом ледники, острые пики. Ищу глазами пик Советских Офицеров, но он по левому борту. Перехожу туда. Зрелище потрясающее: взломанная земная кора щетинится острыми вершинами, зубцами, отвесами. Все это затянуто слоем снега и льда. Геологи сосредоточенно работают. Я же гляжу в иллюминатор с далеко не сосредоточенным интересом. Это не мой квадрат, здесь я никогда съемкой не занимался. В это время в монотонный гул мотора включаются новые ноты. Гул становится неровным. Машину начинает кидать. С тревогой гляжу в салон, но все спокойно работают. Я тоже успокаиваюсь. А то случись что, здесь ведь и не сядешь...

На обратном пути вышли на мой квадрат. Я пересел на ремень, протянутый между креслами пилотов. Перевалили Шугианский хребет. Где-то тут непосещенный массив. Показываю пилотам место, делаю ладонью движение «вниз». Машина разворачивается, медленно проходит над массивом. Прошли его, но я ничего не понял. Цвет зажатого между скалами участка склона какой-то незнакомый. Повторяю знак «вниз», глядя на Мысленко, пожимаю плечами: дескать, ничего не разглядел. Тот снова разворачивается, спускается еще ниже, начинает кружить над массивом. Если бы фон склона был зеленовато-пятнистым, это означало бы на этой высоте преобладание подушечников. При зеленом дымчатом фоне следует предположить степную растительность с примесью колючетравья. И так далее. Вся цветовая тональность привязывается к сезону: одно и то же сообщество летом выглядит иначе, чем осенью или весной. И сейчас я тоже делаю поправку на двадцатые числа сентября, но странный серо-желтый фон с просвечивающей неоднородностью расшифровке не поддается. На третьем заходе Мысленко, казалось, чуть ли не цепляет колесами за пологий склон. Неоднородности фона проявляются отчетливее, и до меня вдруг доходит — это же овсецовая степь, чистая, не тронутая выпасом! Делаю Ивану знак, что все в порядке, а сам

удовлетворенно ставлю на контуре нужный знак. Чистые овсецовые степи — редкость. Обычно они стравлены, вытоптаны скотом, засорены примесью грубых трав вроде сверции. А здесь место недоступное, степь сохранилась в первозданном виде. Только один раз до этого я встречал клочок подобного травостоя. Тоже на неприступном для скота участке. Если бы не тот случай, я, пожалуй, не узнал бы на этот раз овсецовую степь. А если бы доверился интуиции, обязательно нанес бы на карту что-нибудь другое.

Потом прошли над вторым «белым пятном». Там все оказалось, как я и предполагал. Тонкая сеточка фона в соседстве с разбросанными валунами и голыми пятнами растаявших снежников четко указала на криофильную растительность с примесью кобрезий. Подобных сообществ описано много, поэтому можно, не беря большого греха на душу, дать характеристику этому контуру по аналогии с известными.

Вечером я спросил Ивана, что случилось с мотором над Зортаптколом.

— Заметил? А ничего особенного. Просто я подключил к мотору кислородное дутье.

— А болтало почему?

— Рельеф пересеченный, ледники, восходящие токи, воздушные ямы, вот и болтало. Да ты не волнуйся.

— Да нет, я просто спросил...

Иван подмигнул мне, и я вдруг усомнился: действительно ли он дал кислород с семи километров? Но спрашивать дальше не стал.

После ужина, когда весь материал первого дня облета был уже упорядочен, засиделись за разговорами допоздна. Со складчатых систем Азии, разломов и глыбовых воздыманий разговор перешел на самих геологов. Я утверждал, что в наше время, когда геология раздробилась на частные дисциплины и углубилась, не стало таких гигантов, как, например, Д. В. Наливкин, уже во втором десятилетии века открывший тектоническую зональность на Памире; таких регионалистов-универсалов, как С. И. Клуников, мысливший всепамирскими категориями, и так далее. Словом, «измельчал ноне геолог».

Владимир Иванович Буданов, мой давний друг, геолог, к которому меньше всего мог относиться тезис об «измельчании», не соглашался со мной. Геологов стало больше, технических и методических средств

у них тоже намного больше, чем было у Наливкина, вряд ли располагавшего возможностью облета, например. А по закону больших чисел на этом фоне и среди современных геологов появляются гиганты. Вроде как современные рядовые врачи, оснащенные техникой, менее универсальны, чем старый уездный врач, а здравоохранение в целом шагнуло вперед и на этом фоне тоже есть свои гиганты.

Позже я убедился, что Буданов был прав. На геологическом небосклоне уже тогда виднелись звезды первой величины. Через несколько лет их сияние стало виднее. Звездами стали и некоторые из сопамирцев, с которыми я делил тяготы горных путей.

Геологи, геологи, племя «клетчатых тигров» в ковбойках, превратившее романтику в повседневность, поиски кладов — в науку, а путешествия — в производство! Яркая геологическая братия, интеллигентные бродяги, целеустремленные мечтатели, верные друзья! Веселые и мужественные геологи, снисходительные к людям, ведущим странный образ жизни на одном месте! Человечество стало лучше от того, что на свете есть вы...

На следующий день мы летали над Восточным Памиром. Вообще-то я полетел зря. Мы так и не успели завернуть на мой квадрат. Только на третий день мы покрутились над нужным мне местом и я окончательно замкнул контуры. Карта была в ажуре.

Когда Мысленко «вылетал ресурс», то есть использовал все отпущенное ему для облетов время, «Антон» улетел в Душанбе. Да и погода стала портиться. Начался разезд участников облета. Они уезжали в свои партии. Деловая суета, рукопожатия, и в путь. Мы прощались, не зная, где и когда встретимся. В горах? Или в Душанбе? Или в Оше? Или тут же, на базе? Пути наши неисповедимы и не всегда пересекаются. Впрочем, расставания привычны, а сентиментальность здесь не в стиле.

...Прошли годы. В 1969 году я вылетел из Калининграда с тем, чтобы срочно попасть в Хорог по делам. В Москве случилась осечка с бронированием места на Душанбе. Бывает. Я очень спешил, а шансы улететь равнялись практически нулю: конец августа, и студенты всей страны забили аэропорты до отказа. На вторые сутки я пробрался к трапу самолета, летевшего в Душанбе, но мой билет без посадочного

талона права на посадку не давал. К машине уже шел экипаж. Я угадал, кто именно командир, подскочил к нему:

— Командир, завтра мне надо быть в Хороге, меня люди ждут.

Командир усмехнулся:

— А билет у тебя есть?

Я удивился фамильярному обращению, но протянул ему билет. Поглядел на него. Командир хитро подмигнул мне... и я узнал — это был Иван Мысленно. Мы обнялись.

Конечно, я улетел этим рейсом. На откидном кресле. Летел и спал. Мысленко — опытный пилот. Спать можно было спокойно.

### ***В ТРЕХ КИЛОМЕТРАХ ОТ БАЗЫ***

Маршруты бывают дальние и ближние. В дальние собираются основательно. Для ближних обычно кладут в карман горсть сахара и сухарей, а если идут с ночлегом, то берут с собой и спальный мешок полегче. В конце концов случись что, из ближнего маршрута всегда можно вернуться, база рядом.

Так было и на этот раз. Мы вышли в маршрут вдвоем с рабочим.

Знаете ли вы, что такое рабочий экспедиции? Боюсь, что в полной мере не знаете. По идее такой рабочий — это универсал. Он должен уметь делать все. Или почти все. Ставить и снимать палатки, готовить еду, седлать и выючить копей, снимать показания альтиметра, собирать растения для гербария, рыть ямы для почвенных разрезов, упаковывать имущество, ремонтировать упряжь и обувь, нести на себе полную, даже сверхполную выкладку. Легче перечислить, чего он может не уметь. Кроме того, экспедиционный рабочий должен быть безотказен, силен, ловок, честен и прилежен.

Хороший рабочий — это сокровище. Его холят и лелеют, им дорожат, его удерживают в экспедиции всеми возможными и невозможными финансовыми и психологическими средствами. Некоторые парни работали у меня по несколько лет и достигали высот истинного мастерства в своем деле. Давлятбек Авазбеков, например, через три года работы в экспедиции знал по-латыни многие растения, отлично перекладывал гербарий, а уж если оставался на лагере, то порядок там был идеальный. За любовь к порядку Давлятбека называли

комендантом, и он смущенно принимал эту шутку. Ему доверялись крупные суммы казенных денег, поручались задания, требующие творческого подхода. А его хобби — фармакология; он постоянно интересовался содержимым нашей аптечки, расспрашивал о лекарствах, их показаниях и дозировках. Может быть, он был рожден фармакологом? Кто знает?! Когда Давлятбек ушел из экспедиции «по семейным обстоятельствам» — родился шестой ребенок, я был очень огорчен. Эх, кабы можно было платить работнику столько, сколько он стоит! Нет, что ни говорите, хороший рабочий в экспедиции куда нужнее, чем заурядный специалист.

Султанбек Гуломалиев, с которым я вышел тогда в маршрут, был тоже хорошим рабочим. Что мне нравилось в нем — это веселый нрав и любознательность. Всегда он улыбается. И обо всем расспрашивает. Отслужив в армии, он пытается нащупать будущую свою судьбу: постоянно обсуждает, куда ему пойти учиться. А чтобы время не шло зря, Султанбек летом подрабатывает в экспедиции. Парень он крепкий, коренастый. Ладони, как лопаты. Султанбек ищет работы потруднее. Он радуется, когда надо копать землю, поднимать тяжести, и сучает на перекладке гербария. В пути Султанбек, как истинный горец, шагает ровно, уверенно. С таким попутчиком славно работается.

Цель нашего маршрута была самая рядовая. Нам нужно было проследить снизу вверх изменение «самочувствия» эфемероидных растений. Это была часть большой работы, таких профилей мы отработывали много.

Маршрут был задуман просто: от базы экспедиции мы должны были подняться до водораздела Шугнанского хребта и спуститься вниз на базу. Этот путь, если поднажать, можно проделать и за день. Но в работе спешить я не люблю, и мы вышли с расчетом на ночлег. Взяли с собой спальные мешки, немного еды, а для комфорта — примус-пчелку, чтобы почаевать. Выкладка была легкой, и мы, выйдя с утра, за день славно поработали. Заночевали на склоне, вырубив в нем горизонтальную площадку. Султанбек уснул мигом, а я еще некоторое время ворочался в мешке.

Ночью, когда все окружающее тонет во мраке и только огромные звезды глядят на горы, становятся ощутимее запахи Памира. Это очень сложные запахи. Памир пахнет полынью и пылью, нагретыми за день камнями и дымом кизяка, свежестью горного ветра и медом цветущей

джидды, талой водой ледников, саманными стенами дувалов, зерном хирманов, смолой камоля и арчи, лошадиным потом, яблоками, тонким ароматом листвы грецкого ореха, млечным соком одуванчика, подсушенным сеном, обрызганной водою дорогой, губоцветными, кожей седел, иногда асфальтом, а чаще — чем-то непонятным. Обычно эти запахи смешиваются, но любая их комбинация остается очень памирской при явном преобладании запаха полыни. Дарваз пахнет иначе. Там все перебивает запах зелени, влажной травы. Тянь-Шань пахнет елью и лугами. Бабатаг пахнет лёссом, солью и сгоревшей травой. А Памир пахнет сложно. На этот раз пахло листьями югана и влажной землей от разрытого склона. Под этот аромат я и уснул.

Проснулись рано. К десяти утра выбрались к водоразделу. Собственно, цель была достигнута, мы могли возвращаться. Но, затратив силы на подъем, не хочется быстро покидать высоту. Спешить было некуда: впереди целый день. Мы еще побродили по водоразделу, пофотографировали, зарисовали несколько структур растительных сообществ. Потом наткнулись на небольшое степное сообщество овсеца. Сделали описание. Спускаться можно было по нескольким ущельям. Все они были исхожены. Даже по каменистому, самому короткому и крутому, я ходил дважды. На этот раз захотелось спуститься где-нибудь в новом месте. Для пробы мы сунулись к северному склону. Внизу был виден Гунт, покрытый барашками пенящейся воды, но шум реки сюда не доносился.

Спуск сначала показался приемлемым. Спрыгнули на одну площадку, предварительно высмотрев путь к возвращению. По крутым уступам скалы начали спускаться довольно быстро. Потом уступы стали все уже, а отвесы круче. Но у меня был вполне приличный опыт скалолазания: в течение трех лет я изучал скальную флору. А Султанбек — памирец. И мы продолжали спуск. Хуже было то, что мы где-то потеряли ориентировку на случай обратного хода, и теперь неизвестно было, сумеем ли мы в случае чего вернуться на исходную позицию или нет. Скорее всего поднимемся, но реального представления о подробностях пути наверх не было. За многочисленными препятствиями, с которыми проходил спуск по скалам, детали как-то забылись.

Наконец добрались до слегка наклонного отвеса. Стояли на полтораметровой ширины уступе, а вниз шла почти отвесная стена.



Внизу, в четырех метрах, был виден уступ в метр шириной. Прыгать на него нельзя: можно промахнуться или не удержаться. Что ниже этого уступа — неизвестно: ничего не видно. Но другого пути все равно не было. Правда, если с уступа пути дальше не будет, подняться по этой четырехметровой стенке обратно, может, и не удастся. Ведь скальных крючьев у нас не было. Было метров десять крепкого капронового шнура, которым мы во время работы огораживали площадки для зарисовок, да два ледоруба. А может, вернуться все-таки?

Посидели. Поели, благо время близилось к обеденному. Я покурил. Не мешало бы попить, но о воде до спуска думать не приходилось. В глубине души я успел пожалеть о решении спускаться здесь, по скалам. Но мы прошли уже две трети спуска. Гунт уже был слышен. А возвращаться обратно долго, неминуем еще ночлег, пройдет контрольный срок, пас начнут искать. Да и сумеем ли мы подняться по этим скалам? Ведь там, где для спуска достаточно просто прыгнуть, придется преодолевать подъем. К тому же наверху не было воды, а во рту так пересохло. И Гунт был так близко. Будь я один, ни за что бы не стал здесь спускаться. Но нас двое. А это уже коллектив. Султанбек был тоже за то, чтобы рискнуть. На том и порешили...

Сначала мы спустили на нижний уступ рюкзаки. Веревку продевали через кольцо клапана, а когда рюкзак прочно ложился на уступ, веревку за один конец вытаскивали обратно. Потом спустился Султанбек. Он умело пропустил конец веревки под бедром и через плечо, а я стал подтравливать конец через загнанный в щель ледоруб. Поскольку стенка была чуть наклонной, Султанбек не висел, а сползал по ней до тех пор, пока не встал на уступ. Я мог бы спуститься так же, но тогда пришлось бы оставить наверху ледоруб, а это дефицит. Жалко. Тогда я зацепился клювом ледоруба за грунт площадки и стал сползать ногами вниз. Снизу Султанбек забил в трещину над головой клюв своего ледоруба. Вися на одной руке, я дотянулся до нижнего ледоруба и уперся в него ногой. Кажется, надежно. Потом, прижавшись к скале, я высвободил свой ледоруб, и он повис на темляке. Другой ногой я переступил на плечо Султанбека, и он стал приседать. А там уж можно было и прыгнуть на уступ. Отдышались.

А дальше было вот что. Под нашим уступом ничего не было видно. Пустота. Но уступ шел в обе стороны довольно далеко, местами сужаясь до полуметра. И слева был виден участок скалы, по которому

можно было спуститься. Закинув за спину рюкзаки, мы осторожно стали продвигаться по уступу. Местами приходилось поворачиваться лицом к скале и передвигаться боком.

Скала, казавшаяся издали пригодной для спуска, была, строго говоря, для такового непригодна. Она оказалась трещиноватой, но отвесной. Метрах в трех внизу на ней выступала небольшая ступенька, а ниже ее еще метрах в двух виднелся довольно широкий уступ, на который можно спрыгнуть. Вся трудность заключалась в том, что мы стояли на узком уступе, лишенном грунта. Загнать ледоруб некуда. А пятиметровый прыжок исключался. Но деваться некуда. Обсудив тактику, начали спуск. На этот раз тоже сначала спустили рюкзаки, но дальнейшую тактику изменили. Я засунул кисть левой руки в трещину и сжал ее в кулак. Султанбек ухватился за мой ледоруб и, скинув ноги вниз, стал дотягиваться ими до ступеньки. В какой-то момент он повис на ледорубе всей тяжестью. Кулак в трещине взмок от усилия, стал скользким и начал сдвигаться с места. Правой йогой я изо всех сил упирался в край уступа. Дыхание перехватило. Я чувствовал, что сейчас кулак выскользнет из трещины, и тогда мы оба загремим вниз. Я сжимал кулак, как мог, но он все-таки смещался в щели. В самый последний момент натяжение ослабло: Султанбек встал на ступеньку. Отпустив ледоруб, он спрыгнул вниз и радостно заорал, что дальше путь хороший.

Теперь моя очередь. Жалко терять ледоруб, но другого выхода нет. Загнав клюв ледоруба в трещину, я даже поколотил по нему для верности камнем. Веревку пропустил через отверстие в лопатке ледоруба. Теперь все зависело от того, выдержит ли веревка. И она выдержала. Но вырвался из трещины ледоруб...

К счастью, это произошло, когда я уже стоял одной ногой на ступеньке. Оттуда я навзничь, спиной вперед, стал падать. Ледоруб, с силой выдернутый из трещины, падал быстрее и еще до того, как я грохнулся, треснул мне древком по голове... Я упал на Султанбека, и мы вместе рухнули на колючие подушки, примостившиеся на уступе. Оглушенные, мы несколько секунд лежали неподвижно. Я пошевелился и почувствовал, что руки Султанбека с кистями-лопатами накрепко обхватили меня. Он ловил меня, оказывается. Когда я шевельнулся, из-под меня раздался испуганный его голос:

— Ты живой?

— Живой. А ты?

— Я тоже. Только спина в колючках...

Да, это был момент! Мы оба оказались невредимы, если не считать свезенной о камни кожи у меня да колючек в спине Султанбека, упавшего на акантолимон. И синяков. И шишки у меня на голове. А остальное было цело. Даже ледоруб.

Султанбек оказался прав. Дальше путь был хороший. Скалы изобиловали уступами, ступеньками, кавернами, расщелинами. Никаких технических трудностей. Но мы спускались еще часа три. Когда добрались до воды, напились вволю. Посидели. Поглядели вверх. Отсюда скальная стена казалась совершенно отвесной.

До контрольного срока оставалось два часа. До базы, ботанического сада, — три километра хорошей тропы. По приходе доложил Турскому. Он спросил, почему мы так долго ходили. Я ответил, что задержались на спуске. Других вопросов не последовало, и рассказывать подробности я тогда не стал. Ведь мы были совсем рядом с базой.

Летом 1972 года я встретил в Хороге Султанбека, такого же веселого и ладного. Одет он был даже с некоторым изяществом. После окончания института он работал в облисполкоме. Когда хлопанье друг друга по плечам закончилось и все сведения о здоровье чад и домочадцев были изложены, я кивнул на Шугнанский хребет, смотревший на Хорог как раз той памятной стенкой:

— Помнишь?

Султанбек покивал головой, поцокал языком и вздохнул:

— Молодые были, глупые...

— А сейчас поймал бы меня, как тогда?

— О-хо, конечно! Ты совсем не растолстел.

И он помахал передо мной своими кистями-лопатами.

## ***РАССКАЗЫ СТАРОГО ШАМИРА***

Днем я проводил в аэропорт своих родителей. Старики решили составить визуальное представление о моей жизни на Памире и мужественно проделали далекое путешествие из Ленинграда в Хорог. Попали они сюда в самое жаркое время. Реки вздулись, мост через

Шахдару снесло, и старики оказались заблокированными в ботаническом саду. Вчера мост частично построили, сегодня родителей переправили по стропилам моста, и они улетели в полном убеждении, что теперь характер моей работы и образ жизни им ясны. В течение двух месяцев они провожали меня в маршруты, встречали, расспрашивали, куда и зачем я ходил. Я объяснял, как мог, опуская некоторые подробности. В саду все выглядело вполне цивилизованно. Родители улетели успокоенными. И очень хорошо.

А вечером ко мне пришел старик Шамир. Он успел подружиться с моим отцом и теперь пришел вроде бы утешить меня в разлуке. Памирцам вообще свойствен такт, то ли природный, то ли воспитанный нелегкой жизнью в горах. Шамир же являл собой великолепный образец памильца. Он стар, очень стар. Маленький, согнутый годами, в белой чалме, жилетке и бумажных брюках, заправленных в мягкие сыромятные пехи, он был главой многочисленного семейства.

Все его сыновья начинали свою карьеру рабочими ботанического сада. Некоторые так и оставались ими. Но среди его сыновей есть агроном, шофер и председатель колхоза.

Сам Шамир всю жизнь работает на даште, где расположен ботанический сад. Когда-то он был конюхом шпана (лицо высокого ранга в иерархии мусульманского духовенства), летняя резиденция которого была как раз здесь. Шамир помнит, кто, когда и какое дерево сажал в саду. Толстенные, в полтора обхвата, ивы, что растут сейчас возле главного арыка, сажал он сам. Шамир помнит Бориса Алексеевича Федченко, путешествовавшего здесь в начале века, Павла Александровича Баранова, организовавшего сеть научных учреждений Памира в начале тридцатых годов. Шамир рассказывал, что Федченко переправляли через перевал Штам верхом на кутасе (яке) и с завязанными глазами, чтобы у путешественника не кружилась голова. Рассказывал, что Баранов был совсем как военный — в гимнастерке, сапогах и на коне хорошо сидел, но был «домулло», ученый человек.

Расспрашивать Шампра не следует. Нужно только ждать, когда он сам расскажет что-нибудь. Но русским языком Шамир владеет плохо и отваживается на рассказ редко. В наших беседах фигурирует русская, шугнанская и таджикская лексика.

Сегодняшний его визит тоже был довольно молчаливым. Он сказал, что мой «папашка» — домулло, хорошо знает их язык (отец знал немного фарси), а «мамашка» косит траву, как дехканин (мать, доцент-химик, действительно, тряхнув стариной, косила в саду траву). Это был вежливый разговор, вполне приличествующий такому случаю. Мы сидели на скамейке у обрыва. Снизу доносился шум Гупта и Шахдары: там они сливались. Между двумя реками участок террасы был засеян хлебами. Виднелись обсаженные тополями кибитки. Это кишлак Варцудж. Обрыв так крут, что все внизу было хорошо видно прямо со скамьи. Я сказал, что хлеб скоро будут убирать. Шамир согласился с таким прогнозом. Помолчали. Потом Шамир показал влево, на старое здание склада, и сказал, что раньше там летом жил ишан Сеид Мамудшо. Я это знал, но проявил к сообщению интерес. А потом Шамир рассказал историю, которую я до этого ни разу не слышал. В моем вольном пересказе эта история много теряет. Главное же, меняется оценка событий, совершенно разная у меня и у Шамира.

Так вот, ишан — это крупного ранга духовное лицо в мусульманской иерархии. Сеид Мамудшо был ишаном шахдаринским. Он был настоящим домулло, ученым человеком. Он читал книги, умел их толковать, он много путешествовал, был паломником, даже на Цейлоне бывал, говорят. Богат был ишан сказочно. На него работала вся долина Шахдары, часть долин Гунта и Пянджа. Сюда, на дашт, ишан велел провести воду из Кок-Чашмы, построить дом для себя и кибитки для слуг, посадить деревья — ивы, абрикос, яблони, груши, алычу. Все это росло вот здесь — Шамир показал, — близко к обрыву. Вся вода из Кок-Чашмы орошала только этот небольшой участок и уходила потом вниз, в песок. Остальная земля на даште пустовала. А на Варцуджской террасе земли было совсем мало. Воду из Шахдары туда подавали узеньким арыком, и ее хватало только на то, чтобы оросить клочок земли под хлеб. Наверху ишан жил один со слугами, а внизу, в Варцудже, жило вдесятеро больше людей. Вверху, на даште, земли было много, внизу — мало. Ишан жил богато, а в Варцудже хлеба до весны не хватало, ели толченый тутовник. Ишану, когда он собирался на прогулку, Шамир подводил белого коня под богатым седлом и с уздечкой в серебре. А внизу было лишь несколько облезлых ишаков, на которых и увозили в дома весь урожай. Часть урожая

отдавали тому же ишану. Когда пшан удалялся в дом на молитву, внизу тоже молились.

И вот однажды в Варцудже кто-то сказал, что все это не по-божески, несправедливо. Прошлый год был неурожайный, дети умирали, и отчаявшиеся дехкане послали к ишану делегацию с просьбой разрешить им возделывать пустующую на даште землю. Воды хватает, а поскольку земля эта ишанская, то половину урожая они отдадут ему, Сеиду Мамудшо. Ишан выслушал делегатов и махнул им рукой, чтобы они уходили. Когда делегаты спустились, ишан подошел к обрыву, распростер руки над Варцуджем и проклял кишлак и его обитателей...

Я боялся перебивать Шампра, но не удержался и спросил: за что, собственно, проклял ишан дехкан? Ведь предложение было деловое, ишану выгодное. Шамир стал объяснять: это место, где ишан молится, святое. А пригонять в святое место грязных волов для пахоты нельзя. Да и земля эта принадлежит ишану, и только он мог предложить использовать его землю, а не дехкане. Их просьбу ишан расценил как посягательство на свою землю и как проявление безбожия. Все это Шамир объяснил другими словами, конечно...

Проклятие ишана страшно испугало жителей Варцуджа. И они решили просить ишана снять проклятие. Утром все мужчины кишлака надели на шеи веревочные петли и поползли на коленях вверх по обрыву, протягивая концы веревок ишану. Было жарко, на склоне песок, и они ползли полдня. Ишан все это видел в окошко, но не вышел. Проклятые приползли под стены резиденции, но ишан продержал их так до вечера, несмотря на стенания и мольбы о прощении. Наконец ишан вышел и снял проклятие. Даже разрешил «шурави» (бунтовщикам) поцеловать край его халата. Добрый он был, ишан Сеид Мамудшо. Как отец родной. Таких шурави простил.

Шамир закончил рассказ. Я сидел ошарашенный, не зная, как отнестись к такой концовке. Похоже было на то, что Шамир всерьез восхищается душевными качествами ишана. Закурил. Предложил сигарету Шамиру. Тот взял, раскрошил табак на ладони и кинул его под язык. Помолчали. Потом я робко, боясь спугнуть повествовательное настроение Шамира, спросил его: куда девался Сеид Мамудшо после революции? Шамир выплюнул табак, вытер расшитым бисером платком седые усы и сказал, что ишан уехал в

Афганистан. После его отъезда долго боялись осваивать земли на даште. Помнили о проклятии. А потом приехал Баранов. За ним — Гурский. Совсем худенький он тогда был. Стали делать сад. Хороший сад стал. А Сеид Мамудшо, говорят, помер в Кундузе...

— Шамир...

— Лябба (вежливый знак внимания).

— Ишан был очень ученый человек?

— О-хо! Очень.

— А твой сын-агроном больше знает, чем ишан?

— О-хо! Конечно, больше. Его в институте учили. Диплом есть.

— Но ведь твой сын никогда не будет так поступать, как ишан: проклинать, землю зря держать...

— Не будет. Он хороший, умный.

— Значит, ишан не умный и не хороший?

Шамир вздохнул, кинул под язык «наговор», начал объяснять. Агрономов теперь много. Учителей тоже. Много ученых стало. Даже дети ученые — читают и пишут. А тогда один ишан книги читал. Много знал. И какой бы он ни был, он был ишан. И все жили по его закону. Теперь шпана нет. Закон другой. Тогда конюх только стремя ишану держал, а теперь пенсию Шамиру дают. Тогда была одна жизнь, теперь совсем другая. Вот в той жизни ишан был самый ученый, самый богатый, самый большой человек. А сейчас мой сын машину сам водит. Разве можно сравнивать?

Кажется, я понял Шамира правильно.

Потом мы пили у меня дома чай. Руки Шамира, черные, узловатые, с вздувшимися венами, ловко держали пиалу. Чаепитие — это ритуал. Чем дороже гость, тем меньше чаю наливают ему в пиалу. Зато подливают чаще. Это чтобы дольше гость не уходил, чтобы продолжительнее была неторопливая беседа. Шамиру я наливал чай на самое доньшко. Уже совсем стемнело, но мы находили о чем поговорить. Шамир рассказывал о военном враче Станишевском, который вылечил его от какой-то страшной болезни, какой именно — я не понял. О геологе Клунникове, который весь Памир исходил пешком. О молодом Гурском. Эта часть разговора меня очень заинтересовала: любопытно все-таки узнать что-то о своем начальстве.

Рассказ был об одной детали, которой я не знал. Она касалась системы отсчета времени. Дело в том, что в старину дехканин начинал

работу с восходом солнца. Дашт, на котором расположен сад, окружен горами. С востока — отвесные скалы Шугнанского хребта, с запада — горы Ишкашимского хребта, с севера — Рушанского. Сад находится как бы в яме. И солнце там летом появляется из-за Шугнанского хребта только часам к десяти утра. Вот рабочие, пользуясь старым отсчетом времени, только с десяти и начинали работу. Гурский велел им начинать в восемь утра, но часов ни у кого в те времена не было, и работу упорно начинали только с солнцем, в десять. А весной и осенью и того позже. Тогда Гурский придумал выход из положения. Он подвесил на видном месте кусок рельса и сказал, что работа будет начинаться через час после боя. Утром раздавался звон. Его было слышно далеко окрест. Народ собирался. Через час снова били в рельс. Это означало начало рабочего дня. По такому же сигналу и обедали, и кончали работу. Постепенно привыкли. Теперь у всех есть часы, но гонг еще долго звучал над даштом. Я еще застал его. Но историю о том, как гонг выдержал конкуренцию с солнцем и помог укрепить производственную дисциплину, я услышал впервые.

## ***НА ПАМИРСКИХ ТРАКТАХ***

На Памир ведут два тракта: Ош — Хорог и Душанбе — Хорог. Первый — более оживленный. Длина его 728 километров. Второй короче — 536 километров, но он идет через перевал Хабурабат, свободный от снега всего полгода. Поэтому он менее популярен. А по трассе Ош — Хорог иногда можно ездить круглый год. Впрочем, смотря какой год выдастся...

Оба эти тракта мне отлично знакомы. Хотя наша полевая работа обычно идет вдалеке от дорог, по тому и другому пути я ездил многие десятки раз. Знаю каждый поворот, представляю себе встречные пейзажи с видом в ту и другую сторону так, будто сейчас их вижу. Эти тракты, пользуясь литературным штампом, — артерии, питающие Памир. День и ночь идут по ним машины. Помню времена, когда по трактам ползли «газики» и «Урал-ЗИСы» — старые грузовики с деревянными кабинами. Поездка в один конец тогда длилась около недели. Полотно дороги скверное. Шоферская тоска была выражена в стихах, выбитых на скале:



От Оша и до Хорога  
Все трясухая дорога.

А ниже была приписка краской:

От Хорога до Оша  
Тоже тряска хороша.

Теперь этих надписей нет: при расширении дороги скалы взорваны. Да и полотно дороги расширилось и значительно улучшилось, местами даже асфальт положен. И летят по трактам теперь «голубые корабли» — ЗИЛы сто тридцатые. Два дня туда, два обратно. Быстро.

Каждый воспринимает знакомую дорогу по-своему. Я воспринимаю каждый отрезок дороги, вспоминая шофера, с которым ехал тут или там впервые. Или какие-нибудь запоминающиеся обстоятельства. Именно шофера вспоминаю сначала, а обстоятельства после. Потому, наверное, что, если бы не водитель, не его мастерство, умение, опыт, некому было бы вспоминать — такие бывали обстоятельства.

Для меня памирский шофер — всегда личность, всегда индивидуальность. Разные они все. И не ангелы. Бывают среди них стяжатели, что греха таить. Встречались и пьяные за рулем: здесь автоинспекция далеко. Но я ни разу не видел таких, которые проехали бы мимо при поломке, не вытянули бы сползшую под откос незнакомую машину, не поделились бы горючим, не уступили бы безопасную сторону дороги машине, водитель которой боится высоты. Без этого кодекса жизнь на горных трактах была бы невозможна. Я знаю людей, расценивающих памирских водителей как пилотов. Преувеличение, но все-таки... Видели бы вы, как встречают первые машины в Хороге, когда открывается дорога и начинается завоз! Эти первые машины пробились через снежные заносы, через снесенные лавинами участки трассы, через селевые потоки. Водители мерзли, грызли оледеневшие консервы, ночевали в кабинах, свернувшись калачиком, недосыпали. Машины тянули друг друга тросами. Их заносило юзом на обледеневшем полотне над пропастью. Они лезли в

ледяную воду на переправах при снятом предварительно с вентилятора ремне, чтобы мотор не залило водой. Да что там говорить! Нет пока гимна памирскому водителю. А надо бы. Он, рыцарь сумасшедшего тракта, достоин гимна.

...Голубые ЗИЛы быстро обгоняют наш ГАЗ-51. Большая, тяжелая машина нам ни к чему, а на своем «газике» мы можем пройти по любой колее. Но на тракте мы явно прогадываем. И выглядим анахронизмом. Ямин Замиров, наш шофер ветеран, вроде бы даже стесняется своей машины. Когда его обходят ЗИЛы, он покорно прижимает «газик» к краю дороги, пропускает вперед сверкающие эмалью машины и вздыхает. Потом оборачивается ко мне, улыбается и смущенно говорит: «Подышим пылью, а?»

«Газик» натужно урчит на последнем подъеме к перевалу Хабурабат. Справа уже виднеется домик метеостанции. Выезжаем на перевал. Высота невелика — около 3300 метров. Но место это влажное, оттого и снега здесь скапливается много. Вниз покатило бойко. Ямин цовеселел. Потом дорога резко пошла серпантинами вниз по скалистому склону. На одном из поворотов показалась скала, отвесно стоявшая у самого края полотна. На скале краской выведено в рамке:

*Сергей Луков*

*поехал прямо*

*1964*

Ямин замедлил ход и вздохнул. Я глянул: куда это «прямо»? Прямо была пустота. Лента дороги уходила влево. Слева же распутывались ее серпантины. А «прямо», за скалой, шел отвес. Белая ленточка реки Обихумбоу виднелась на глубине более полукилометра. Задремал, видно, Сергей Луков. Или рулевое управление отказало. Или разогнал машину лихо, не успел отреагировать на крутой поворот. Как бы там ни было — нет Сергея Лукова на свете. Осталась только выразительная надпись на скале: «Луков поехал прямо...» Напоминание и предостережение. И памятник Лукову.

Я спросил Ямина, знал ли он Лукова. Ямин не знал. Когда мы отъехали уже порядочно от скалы, Ямин снова повеселел. А я все думал о скале и надписи. По горным трактам много разных памятников погибшим водителям: где надпись на скале, где бетонная пирамидка, а у перевала Зардолю, у шоссе, что ведет в Нурек, в цемент вмазана баранка разбившейся машины. Но чаще всего память людская

служит памятником. Едешь где-нибудь, а водитель и говорит: «Здесь Андрей разбился...», «Там Броимшо поворот проспал...» И расскажет об Андрее и Броимшо. Такие вот памятники чаще...

Ах, романтика дальних дорог! Ямщики седой старины с их страстями и тягучими песнями, под стать длинным российским дорогам. Бывалые моряки, пахнувшие ветром дальних стран, веселые и уверенные в себе. Мужественные пилоты. За прищуром их спокойных глаз прячутся тайны, о которых не положено знать пассажирам. Все они романтичны, все воспеты. А памирский шофер? Разве меньше романтики в его опасном труде? Он и мужествен, и спокоен, и уверен в себе, и весел.

Веселый водитель на Памирском тракте — это стереотип. Легче всего здесь остановить попутную машину, подняв большой палец и хохоча. Тогда, как бы ни спешил водитель, зашипят тормоза и из кабины высунется лицо с ожидающим выражением: «Анекдот? Давай садись скорей!»

За два с лишним десятка лет я хорошо узнал многих памирских шоферов. Со старейшим водителем тракта Порфирием Павловичем я как-то двое суток мерз на подходах к перевалу Талдык, неожиданно закрывшемуся из-за чудовищного снегопада. Тулуп малорослого дяди Порфирия укрывал пас двоих, а его рассказы о первых годах жизни на тракте могли составить целый роман.

...С лихим водителем Петром Синяевым очень-то не разговоришься. Другие боятся заснуть, а он сразу предупреждает: «Спи, на меня это не действует». Оказывается, Синяев выработал у себя редкую способность полностью лишаться сна за рулем. Зато когда он добирается до настоящего ночлега, его из пушки не разбудишь. А за баранкой он, по его уверениям, может трое суток просидеть без малейшей охоты вздремнуть. Говорит, это у него после одного случая такой талант прорезался. Какого случая — не рассказывает.

Как-то я забыл в кабине одной попутной машины горные ботинки: на подъезде к Ошу жарко стало в кабине, скинул их, надел тапочки, а выходя, забыл. Бывает... И шофер был незнакомый. И сошел я на въезде в город, и шофер не мог знать, куда я поеду дальше. Хватился я лишь к вечеру, когда Синяев привез мне ботинки. Сказал: по описанию водителя догадался, что это я ехал.

— А как догадался-то?

— Да, говорит, у Чечектов сел. С бородой. Кому же быть?

...Алеша Сушков — старый друг. Тоже водитель. Я знаю его лет двадцать. Сейчас он так же подвижен и весел, хотя в весе и прибавил. Алеша — философ. У него свой взгляд на жизнь вообще и на свою работу в частности. Особенностью этого взгляда можно считать удивительную чуткость в разделении хорошего и плохого в самой запутанной коллизии. Основной тезис Сушкова — «жизнь должна быть справедливой». Алеша удивительно легко идет на потерю заработка. То полдня помогает кому-то ремонтировать ставшую на тракте машину, то больного везет, хотя для этого нужно повернуть обратно. Сушков — маэстро. Утверждает, что свое всегда заработает.

...Алимджан Джурабаев толст, уютен и весел. Он за рулем с войны. Отец многочисленного семейства. Старшие дети уже работают, младшее дитя, десятое по счету, грудное. Алпмджана этот семейный статут вполне устраивает. Когда удивляются его многодетности, он только похохатывает. Зато с Алимджаном можно ехать спокойно. Не только потому, что он опытный водитель, а главным образом из-за этой вот многодетности. Едет быстро, но осторожно. Говорит, что риска не любит: очень уж много народу ждет его дома. В 1972 году при встрече Алимджан долго расспрашивал о здоровье, отвечал на вопросы о своем семействе, а потом не выдержал, достал из бумажника орденскую книжку. Показал: новенькая. Засмутился, пошутил: «У жены уже есть орден за детей, теперь я ее догнал». Расхохотался.

...К концу полевого сезона Хорог становится похожим на Клондайк, с детства знакомый по рассказам Джека Лондона. Гостиница забита отъезжающими геологами, археологами, ботаниками, почвоведом. Геологи численно преобладают. Все ждут летной погоды. А ее все нет. Запись на билеты все помнят наизусть. А погоды нет. Снег на горах с каждым днем тает все меньше, полоса нарастающего снега на склонах неумолимо снижается. А погоды все нет. Прибывают новые партии. Гостиница трещит по швам, ресторан похож на конвейер: кормят в очередь. А погоды нет. Пошла вторая неделя ожидания, но облака плотно забили трассу.

Наконец терпение лопається. С вечера геологи утеплили фургон машины кошмами, пригласили меня ехать с ними. Я заколебался: моя очередь на самолет одна из первых. Уедем, а вдруг погода откроется —

обидно будет трястись по тракту и глядеть вслед пролетающим самолетам. А с другой стороны, нелетная погода может еще с месяц продержаться. Тогда и на машине не вырвешься. Соглашаюсь.

Выехали рано утром. Машину ребята оборудовали удобно: можно сидеть, можно и лежать. Кошмы защищают от холода. Тепло. Сначала ехали шумно, пели прощальную геологическую:

В дорогу! В дорогу!  
Осталось нам немного  
Скитаться по вершинам,  
Ущельям, долинам.

Потом петь притомились. Стали разговаривать. Но фургон громыхал, пыль лезла в горло. Охрипли. Стали закусывать. Это занятие тоже ненадолго. Заскучали. Утешало лишь то, что облака забили Пянджское ущелье, погода была явно нелетной, а мы двигались к цели. Гостиничный быт всем осточертел. Наконец кто-то предложил расчехлить фургон. Жаль было потраченных на утепление трудов, но стало светло, засвистел в ушах встречный ветер, открылся обзор. Все оделись потеплее, повеселели, оживились. Началась дискуссия по поводу разломов, интрузий и свит. Тема неисчерпаемая. Ее хватило до Душанбе.

Перевал Хабурабат был в снегу. Бульдозеры расчищали дорогу. Местами машину брал на буксир трактор и перетаскивал через снежную толщу. Похоже было, что перевал вот-вот закроется окончательно: снег продолжал валить. Машины гремели цепями, натянутыми на баллоны. Дорожники выбивались из сил. Их покрасневшие глаза свидетельствовали о том, что спать им давно не приходилось. Ревели сигналы. На подходе к перевалу вытянулась очередь машин километра на два. Жгли костры из старых покрышек, промасленной ветоши и засохших дудок камоля. Водители нервничали: успеем ли проскочить? Кто-то из водителей-хорожан решил возвращаться: проскочишь перевал, а обратно домой как? Разворачиваться на узкой дороге было трудно. Столпотворение усилилось. Кто-то говорил, что за перевалом дорога ниже снега скользкая, один бензовоз уже ушел вниз, но водитель выпрыгнул. Верили и не верили.

Ночью вместо сна пришла тяжелая дрема. Холодно. Кругом стоял гвалт от криков и сигналов. Машина то трогалась с места, продвигаясь в очереди, то снова останавливалась. Мотор не глушили, чтобы на морозе не лопнул радиатор. Временами выскакивали из кузова и бегали вокруг машины, пытаюсь согреться.

Наша очередь подошла лишь к полудню. Трактор дернул машину и поволок ее через снег на буксире. Колеса буксовали, но трактор тянул надежно. Через полкилометра мы оказались на хорошем грунте. Пока наш водитель отцеплял буксирный трос, тракторист спал. Потом мы ехали уже самостоятельно. Слева внизу виднелся лежащий вверх колесами бензовоз. Не ввали, значит...

После еще одного ночлега мы быстрыми темпами стали приближаться к дому. Начался «стриптиз». Сначала раздели фургон, заново утепленный у перевала. Потом, по мере спуска, понемногу раздевались сами. Над Гиссарской долиной сияло теплое среднеазиатское осеннее солнце. На хлопковых полях было полно народа: убирали урожай. На подъезде к Душанбе водитель стал отмывать машину, чтобы не раздражать столичную автоинспекцию. Мы тоже пытались отмыть в арыке дорожную пыль. Вид у нас был, надо прямо сказать, не блестящий. Лица облупленные, коричневые, обросшие...

В Душанбе, когда машина встала у светофора, какая-то девушка глянула на нас, рассмеялась и спросила:

— Откуда вы такие? С хлопка, что ли?

— Нет, мы с Памира.

*1973 г.*



# ПОСЛЕСЛОВИЕ

Новая книга известного исследователя Памира доктора географических наук О. Е. Агаханянца интересна своей многогранной информативностью. Читатель вместе с автором совершает увлекательные путешествия по Южному и Центральному Таджикистану и Горно-Бадахшанской автономной области. Автор имеет солидный опыт экспедиционных работ в горах, поэтому описания отдельных интересных маршрутов: к печально знаменитому Саровскому озеру, по Пянджу и Шахдаре, Обихингоу и Гунту, на редкое месторождение лазурита и по высокогорьям Памира — подкупают жизненностью и правдивостью изображаемых ситуаций и вместе с тем дают образное представление об этих местах.

Естественно, что значительное место в книге занимает ботаника. Интересы автора как ботаника очень разнообразны. Это и вопросы типологии, и влияние рельефа на распределение растений и растительности, и изменение растительного покрова в прошлом в связи с геологическими и климатическими причинами, миграции, зарастание осыпей и скал и многое другое. Все они в той или иной мере отражены в повествовании, достаточно полно характеризуюя и современную проблематику «горной» ботаники, и нелегкие условия труда полевого исследователя. Очень живо и образно пишет автор о первых годах своей работы по картированию пастбищ в Центральном Таджикистане, работы, которая на долгие годы связала его с исследованием растительного покрова Памира.

Теплом проникнуты те строки книги, в которых О. Е. Агаханянц говорит о своих коллегам-ботаникам — А. В. Гурском, К. В. Станюковиче, М. Л. Запрягаеве. Мы находим в книге имена многих других ученых, работы которых связаны с исследованием Памиро-Алая: В. Ф. Ошанина, ботаников А. Э. Регеля, В. И. Липского, О. А. и Б. А. Федченко, С. И. Коржинского, И. И. Вавилова, географов и геологов Г. Е. Грум-Гржимайло, И. В. Мушкетова, Н. Л. Корженевского, Д. В. Наливкина и других.

Большое внимание уделено в книге технике полевых ботанических исследований. Здесь описаны и методы сплошного геоботанического картирования, и анализ высотной поясности, и

поиск эндемичных видов, и определение возраста растений по годичным кольцам, и выяснение причины безлесья горных долин, и сбор гербария, и многое другое.

Очень удачным, на мой взгляд, является один из разделов книги, названный автором «Проблемы, вопросы, проблемы...». В нем автор попытался в популярной форме отразить путь и логику научного поиска, ход анализа и сопоставления различных фактов, ведущих к установлению закономерностей природных явлений. К этому разделу примыкает по своей идейной направленности и «Рассказ о научной честности», где ставится вопрос об этике ученого. Надо сказать, что все содержание книги проникнуто духом исследования, почти каждое упоминание какого-либо растения или характеристика растительного сообщества являются не просто фоном путешествия, а служат толчком для развития гипотезы или фактом для подкрепления сложившихся научных представлений. Легко и вместе с тем профессионально точно рассказывает автор о сложностях, возникающих при расчленении растительности гор Средней Азии на типы («Начало», «От ореха к снежному человеку»), излагает проблему современного безлесья Бадахшана («Убийство»), миграционную гипотезу ботанической географии («Осока-путешественница») и другие проблемы.

Книга О. Е. Агаханянца по-настоящему современна. В ней хорошо показан путь развития, пройденный Таджикистаном и особенно Памиром за годы Советской власти, — от всесилы ишанов и бесправия дехкан до жизни в семье свободных народов. Мы зримо ощущаем разительные перемены, свидетелем которых был автор: быстрое освоение еще совсем недавно чрезвычайно труднодоступных долин с их опасными оврингами, прокладку автомобильных дорог там, где веками медленно двигались караваны лошадей и ишаков; отмечаем благожелательное, дружеское отношение местных жителей, помогающих ученым при полевых работах и ждущих от них помощи в поднятии хозяйства этого и сейчас еще сурового края.

Весь тон книги оптимистичен, язык ярок и образен, все повествование проникнуто глубокой любовью к Памиру, к его природе, к людям, населяющим и осваивающим его. Написана книга очень живо, легко и с большим интересом читается.

О. Е. Агаханянец написал хорошую, полезную книгу, написал талантливо. Книга, без сомнения, найдет многочисленного и



благодарного читателя и займет достойное место в ряду лучших книг о путешествиях, написанных профессиональными учеными.

*Кандидат биологических наук*

*В. Н. Павлов*

# ИЛЛЮСТРАЦИИ



*На западных склонах Ферганского хребта сохранились реликтовые леса из грецкого ореха*



*Памирская биостанция. Вдали пик Зор-Чечекты*



*Нагорье Восточного Памира*



*Восточный Памир. Озеро Ранкуль*



*Западный Памир. Зелень только на пойме, склоны покрыты осыпями, которые кажутся безжизненными...*

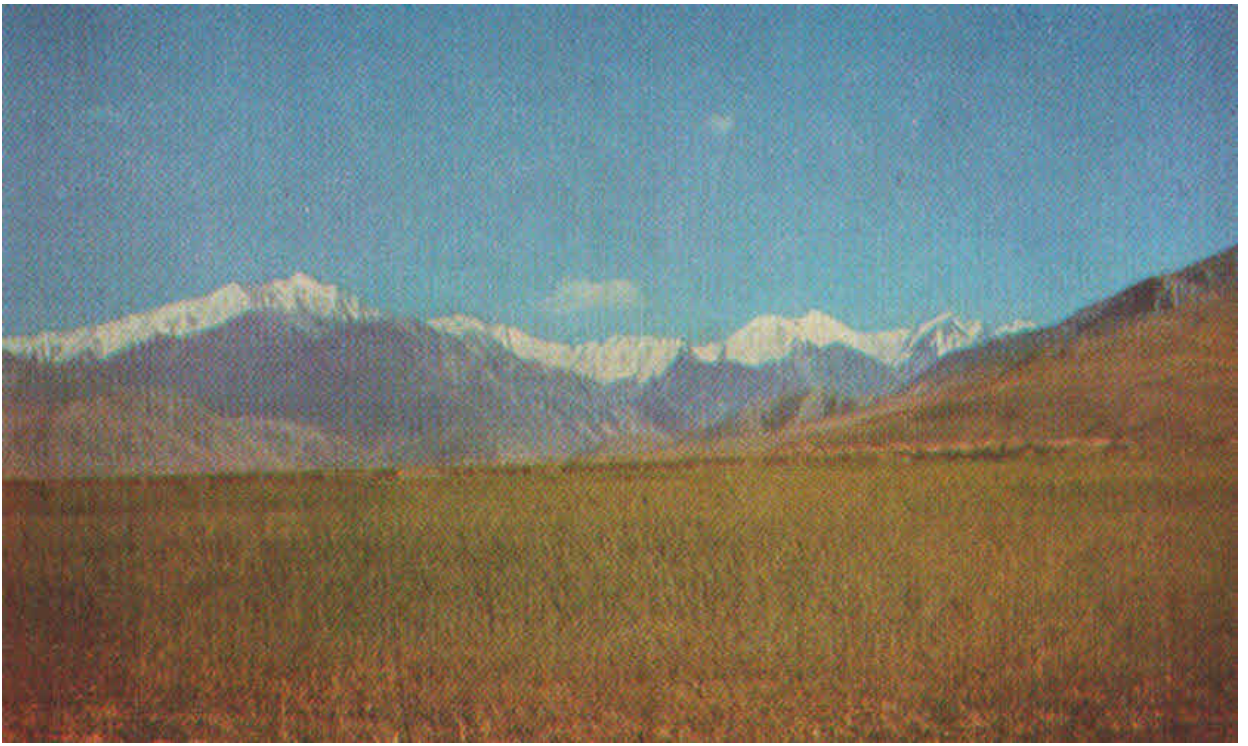


*...но стоит приглядеться поближе, и видно, что осыпи далеко не безжизненны*



*Западный Памир. Река Шахдара течет среди крутых скальных отвесов*





*Алайский хребет. В долине Коксу*



*Туда, где нет дорог и троп, можно добраться вертолетом*



*В Памирском ботаническом саду*



*Алайский хребет. Цветущая герань среднегорных лугов*



*Пик Революции нависает над Рошорвским даштом*



*Памирская биостанция в урочище Чечекты. Абсолютная высота  
3860 метров*



*Вот какие травы встречаются в Памиро-Алае. Это камоль Эшке*



*Вверх по Бартангу к Сарезскому озеру*





*Среди крутых склонов, ниспадающих к Бартангу, встречаются вот такие дашты — древние террасы*



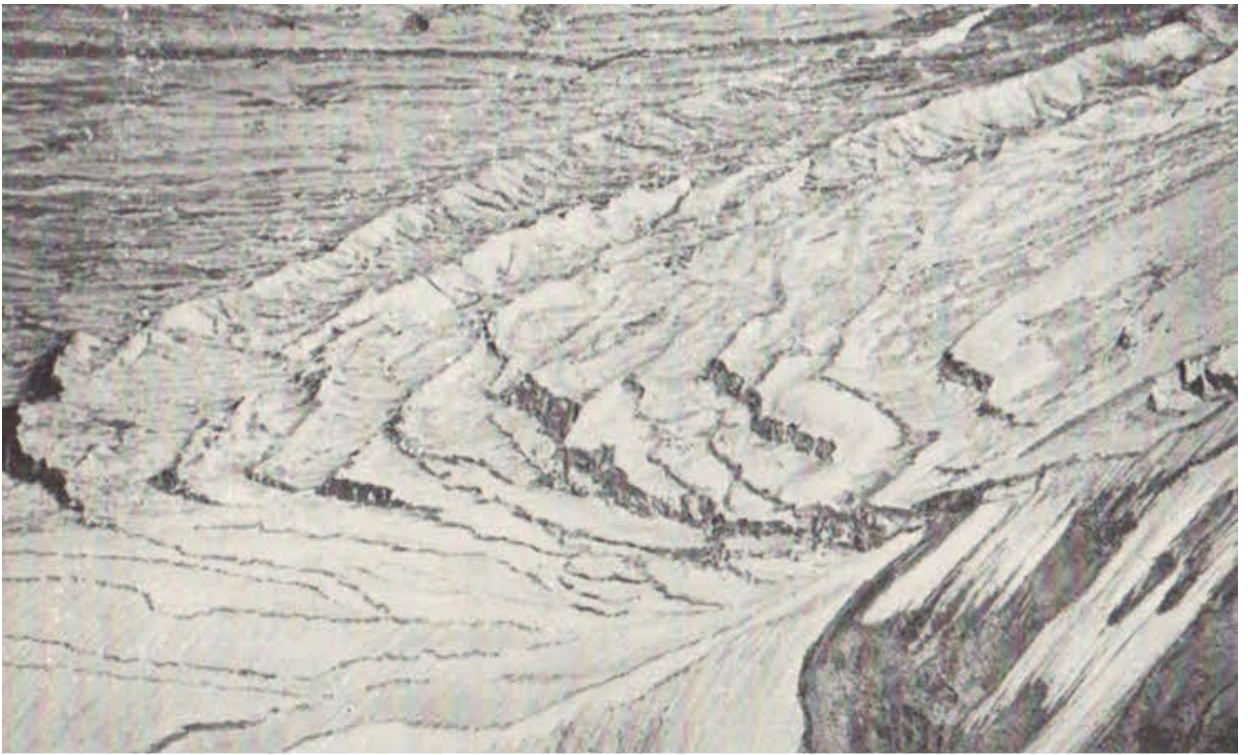
*Ирхтский залив Сарезского озера. Гигантские осыпи уходят прямо в воду*



*Арча туркестанская*



*Во время половодья через Бартанг перебирались по тросам*



*Ледник Одуди издали кажется ровным, но вблизи видно, что он  
испещрен трещинами*



*Путь к урочищу Хугаз*



*Древоидная жимолость в горных лесах Матраундары*



*Этот перевал легким не назовешь*





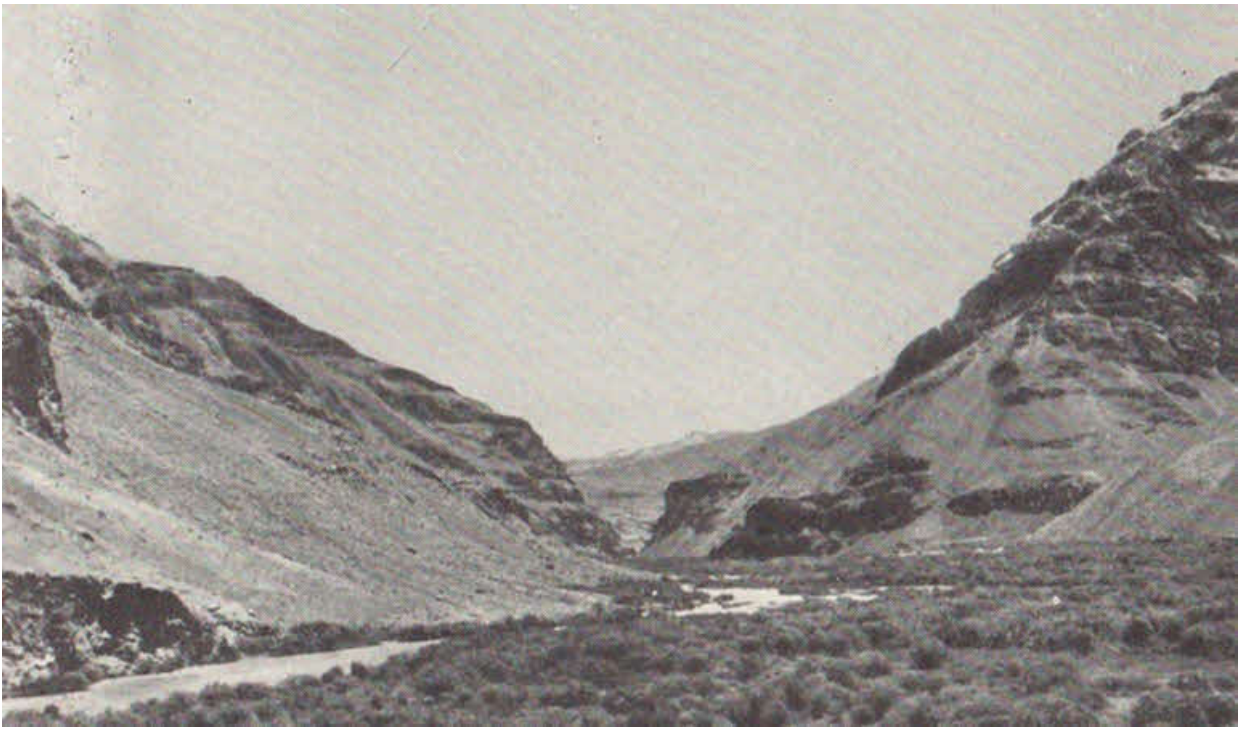
*Древесные заросли в одном из ущелий Язгулемского хребта*



*Озеро Друмкуль в Шугнанском хребте*



*Такой скальный зуб на гребне хребта называют жандармом: его трудно обходить и сверху, и сбоку*



*Пойменные леса Шахдары. Вид сверху*



*Рушанский хребет. Вид на долину реки Штам. Здесь ходил ботаник  
Б. А. Федченко*



*Чуть свет — выход в маршрут*



*Рушанский хребет в западной части*



*На Памире мало пригодной под пашню земли. Каждый клочок ее бережно возделывается. Конус выноса Матраундары в долине Язгулема*



*Река Язгулем*



*Это не ромашка. Это хризантема Столички, высокогорное растение*





*Паррия шугнанская — памирский эндем*



*Барбарис продолговатый растет только в Памиро-Алае и на  
Западном Тянь-Шане*

Агаханянц О. Е.  
А 23 На Памире. Записки геоботаника. М., «Мысль»,  
1975.

175 с.; 12 л. ил. (Путешествия. Приключения. Поиск).

А 20901-327/004(01)-75 БЗ-66-10-74  
581.5

Агаханянц, Окмир Егишевпч  
НА ПАМИРЕ  
Записки геоботаника

Редактор  
Т. М. Галицкая  
Младший редактор  
С. И. Ларичева  
Редактор карт  
З. А. Киселева  
Художественный редактор  
С. М. Полесицкая  
Технический редактор  
В. Н. Корнилова  
Корректор  
Ч. А. Скруль

Сдано в набор 4 июля 1974 г. Подписано в печать 18  
ноября 1974 г. Формат 60x84 1/16. Бумага типографская, № 2.  
Усл. печатных листов 11,625 с вкл. Учетно-издательских  
листов 12,22 с вкл. Тираж 60000 экз. А12411. Заказ М 1517.  
Цена 55 коп.

Издательство «Мысль».  
117071. Москва, В-71, Ленинский проспект. 15.

Ордена Трудового Красного Знамени

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова  
Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета  
Министров СССР по делам издательств, полиграфии и  
книжной торговли.

113054. Москва, М-54, Валовая, 28